ПОБЕДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“





ПОБЕДА

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Составитель
Борис Раевский

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ЛЕНИНГРАД
1965

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Май 1945 года! Победа! Это был один из счастливейших дней в жизни всего нашего народа. Совсем незнакомые люди со слезами на глазах обнимались и поздравляли друг друга.

В этой книге собраны рассказы ленинградских писателей о войне, о том, с каким великим трудом, ценой каких огромных усилий и жертв была достигнута победа.

Рисунки В. Орлова

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Семин

„СУМАСШЕДШИЙ“ КОМИССАР



К полудню солнце согрело старые сосны, с их стволов начал сваливаться лед, то с песочным шорохом, то вдруг грохочущей россыпью, а то и со звоном битого стекла.

Из шалашика, заваленного снегом, вылезли, как из берлоги, трое солдат. Жмурясь, поглядывали наверх.

Медные с прочернями стволы сосен кое-где курились легким парком.

— Эк, братцы, веснушка, — улыбнулся Ремнев, длинный, нескладный, в замызганной прожженной шинелишке. — Глянь, как обкуривает стволы... У нас на Оке теперь небось ледок почернел, может, и заводья у берегов поразвело...

Маленький черномазый Куликов пригнул шею:

— Политрук идет... — и волчком скатился обратно в шалаш.

Политрук Шакуров остановился, долго смотрел на копченые лица солдат, на их красные от бессонницы и дыма глаза, обветренные, потрескавшиеся губы. Задубели люди, заскорузли в сугробищах.

Присел на пенек, не торопясь достал кисет. К нему потянулись руки.

— А Куликов чего прячется? — спросил политрук.

В шалашике простудно и мелко закашлял Куликов, нехотя высунулся.

— Э-э, опять ты не умывался?..

— Да тут хошь умывайся, хошь не умывайся, все равно как окорок копченый. Дымит, зараза, спасу нет! — проворчал Куликов и крепко обругал печку, которую Ремнев смастерил из дырявого ведра.

— Ему бы, товарищ политрук, голландку сюды, — усмехнулся Ремнев. — Ведь он, Юрка, какой? — продолжал Ремнев. — Везде-то ловчит.

— Ай-яй-яй, — покачал головой Шакуров и пристально посмотрел на Куликова. Тот конфузливо опустил глаза. — А Чумаков о чем задумался? — Шакуров повернулся к светловолосому атлету, сидевшему в сторонке.

Тот было привстал.

— Да ты сиди, сиди.

— Из дому плохие вести, товарищ политрук...

И Чумаков рассказал, что в его деревне случился недавно пожар. Теперь мать и отец ютятся в землянке. А отец недавно вернулся с фронта после тяжелой контузии, и плохо ему в землянке...

Политрук хотел что-то сказать, но вдруг послышался сверху нарастающий шорох.

— Воздух! — воскликнул Ремнев.

Шакуров не успел втянуть голову в плечи — свалившийся с дерева снег набился ему за воротник.

— Веснушка дыхнула... Первый раз дыхнула нынче, — мечтательно произнес Ремнев.

Осторожно раздвигая тальничек, Шакуров пробирается к откосу. Низко пригибаясь, за ним идут комбат Кисин, старшины и сержанты, исполняющие обязанности ротных и взводных в поредевшем батальоне.

Но вот и устланная лапником яма, утоптанная, обтертая шинелями и полушубками, пропитанная хвойным запахом, как настоем.

Шакуров кидается бочком, чуть выставив правый локоть. Бледнолицый, красивый капитан Кисин как-то неуклюже подгибает длинные ноги. Он слишком высунулся из ямы. Шакуров толкает под бок:

— Сползите малость.

Новый комбат поспешно втягивает голову. Наверное, вспомнил недавнюю смерть прежнего командира батальона. Так же вот высунулся — немецкий снайпер этого только и ждал.

— Давайте посмотрим, — говорит Кисин.

Приставили к глазам бинокли.

— Танки пойдут слева по косогору, — сообщает Шакуров. — Оттуда до поселка рукой подать. Склон там удобен, Мга мелкая, дно — сплошной камень...

Опустив бинокль, Кисин делает пометки на карте.

— Там два дота, — продолжает Шакуров. — Один у берега, другой повыше, возле пилорамы...

Кисин водит карандашом по карте, пошевеливает окоченевшими пальцами.

Политрук рассматривает поселок Жарки и говорит, говорит.

Комроты старшина Диденко в лихо заломленной кубанке перебивает Шакурова.

— Мабуть, взять левей километра на два?

— Болото там. Осенью бабы клюкву пудами собирали.

— Бачу, тутошним болотам и морозы нипочем. — Диденко потирает уши.

Кисин закрывает планшет, чуть сползает в яму, переворачивается на спину, снизу испытующе глядит на Шакурова.

— Вы здешний... так сказать, моховик. Каждое болотце, кочка-заковыринка вам сродни. Выводите батальон...

Шакуров продолжал рассматривать поселок. Да, все ему здесь родное. Вон там, за косогором, Мга. Перепрыгнуть ее нетрудно. Глубина же местами немалая. Да и рыбой Мга не обижена: налим, ерш, минога и окунь. В ямищах черная подкоряжная щука. Чего ж еще для такой речушки! Это было. И совсем недавно. Год назад. Теперь он с трудом узнавал знакомые места. От Жарков уже ничего не осталось, кроме длинного сарая, в котором стояла прежде пилорама. И еще десятка два обгорелых труб. Если долго на них смотреть, трубы кажутся какими-то диковинными существами. Впрочем, это мерещится, наверное, только ему, Василию Шакурову. С тех пор как сменили здесь другую часть, он часами сидел в яме, разглядывал поселок. Нашел остатки своей трубы, обрубленную снарядом рябину. Искал людей, хотел и в то же время боялся знакомых увидеть. Однако в окуляры бинокля попадали лишь зеленые шинели. Шакуров много думал о жене. Успела ли детей увезти? Писем от нее не было. И на сердце от постоянных этих дум было тоскливо.

Артподготовка началась на рассвете. По всем землянкам, шалашикам и просто ямам в снегу, где залегли бойцы, прокатилось слово: «Началось». Когда артиллерия стала утихать, в воздухе появились бомбардировщики. Земля стонала и гудела, вздрагивали толстые стволы старых деревьев, осыпался с веток снег.

Но вот кто-то надрывно крикнул:

— Вперед, за Родину!..

С косогора спускались танки. За ними, увязая в снегу, бежала пехота.

— Вперед! — петушиным голоском прокричал кто-то справа.

Шакуров глянул: солдат Куликов, качаясь, брел следом за рослым Чумаковым. Немного дальше длинноногий Ремнев в кургузой шинелишке бежал по колее и, как все, широко открыв рот, кричал. Шакуров избегал гусеничной колеи. Немцы всегда били по густым рядам стрелков. Политрук, проваливаясь в снег по пояс, брел, как по воде, широко расставив руки. Голос его сорвался, и теперь Шакуров ничего не мог выговорить. Хотел упредить Ремнева и не мог. Жарки были рядом, а немцы все молчали. Шакуров удивленно смотрел расширенными зрачками. Ноздри его раздувались. Прямо перед ним, метрах в двадцати, темнела амбразура дота. Шакуров швырнул туда гранату. Дым от разрыва

рассеялся, лунка вокруг амбразуры как будто стала больше. А немцы все молчали.

— Нажимай, братва-а! ..— опять пронзительно прокричал Куликов.

Он почему-то не стрелял, как все, а только размахивал автоматом.

— Ура-а! — пригибаясь, орал Ремнев.

Пехота ворвалась в поселок.

Один танк застрял возле пилорамы во рву. Он почти лежал на боку и бил из пушки по сараю...

Немцев в поселке не оказалось. Опасаясь окружения, они незаметно ночью отошли.

Возле землянки собралась толпа солдат. Все что-то говорили, ругались. Шакуров подошел к ним, увидел старика, удивленно прохрипел:

— Игнат Федорыч?..

Старик поднял голову.

— Не узнаете?.. Да это я — Шакуров... Василий...

Старик очумело посмотрел на политрука, потом вдруг повалился ему в ноги.

— Что вы, что вы, — стал поднимать его Шакуров.

— Твоих-то... твоих-то побили, Вася... Всех побили...

— Чего-о?..— В глазах у Шакурова помутилось.

Ремнев наклонился к старику:

— Кого побили, говори толком, дед?

— Евонных... Детишек евонных...— Старик обхватил голову руками, навзрыд заплакал.

Шакурову стало жутко. Слабость ударила в колени. Он едва устоял.

— Ты что... рехнулся?..

Дед Игнат, обняв сапоги политрука, бормотал:

— Федька-беспалый выдал... Будь он проклят!.. В простенке хоронился, а как немец пришел, вылез Федька... Она-то девочку на руках держала... а мальчонку все прочь отталкивала, чтоб убег... А как он побег, по ему из автомату...

Шакуров рванул отвороты шинели, все пуговицы посыпались...

Он лежал в доте на топчане. Все вокруг гудело. С железобетонного потолка изредка падали, как в бане, тяжелые капли. Возле амбразуры стоял капитан Кисин и при каждом взрыве втягивал голову в плечи, стискивал зубы. Мутными глазами наблюдал за ним Шакуров. Потом он слез с топчана, схватился за кобуру, но она была пуста. Боясь, что политрук застрелится, товарищи вынули пистолет.

Скоро авианалет немцев кончился.

Кисин с кем-то связывался по телефону.

«Федька-беспалый выдал... В простенке хоронился... Да как же это?»

Кисин с кем-то все говорил по телефону.

Шакуров мотнул головой и немигающими глазами уставился в одну



точку. Сидел, словно слепой и оглохший: не видел, кто входил в дот, кто уходил, не слышал, о чем тут говорили. Только временами прорывался в его сознание резкий голос капитана, кричавшего что-то в трубку.

«Федька-беспалый выдал...» Шакуров никак не мог понять. Вспоминал: Федькина изба стояла рядом. Жили как добрые соседи. Не раз рыбалили вместе... Перед глазами Василия стояла жена — худенькая, черненькая. Была она почему-то стриженая, как в тот год, когда болела тифом. Вспомнилось вдруг, как пришел к ней в больницу. Впустили его в палату, Василий смотрит: сидит на койке подросток. Стриженая голова у подростка чуть продолговатая, в затылке шире, ко лбу клинышком сужается. Да ведь это она, Нина! Василий удивленно уставился на нее, потом подскочил, обнял. Она заплакала и засмеялась: «Видишь, какая я теперь. Стыдно на улицу выйти...» За волосы боялась. Они отросли. И такие густые! Нина закручивала их в тугой пучок и нередко, ложась спать, сердилась — пучок мешал. «А ты его распусти», — смеялся Василий... Это было. И этого никогда уже больше не будет. Убили. Шакуров обхватил лицо руками... Потом он увидел Мишку. Вот он, карапуз, побежал от матери... Ноги его заплетаются, трепещет сердечко... Бежит, бежит Мишка. А тот, в зеленой шинели, нацелился...

Шакурова охватил страшный озноб. Он вскинул голову, широко открытыми глазами смотрел в стену дота. И там, на стене, словно на экране, видел, как бьется в смертной судороге маленький человечек. Это Мишка. Его сынок...

Кисин кому-то сказал:

— Не выпускайте его.

В батальоне в тот день было много разговоров о политруке. Кто-то пустил слух, что Шакуров сошел с ума. Никто из солдат его не видел и точно не знал, правда ли это. Говорили, будто сидит политрук в штабном доте под надзором.

Он появился через несколько дней. Щеки втянулись. Обросли редкой щетинкой. Глубоко запали глаза. Заметно сгорбился. Шинель на нем висела, как на колу. Не хватало на петлице кубика. И даже недавно нашитая нарукавная звезда, казалось, поблекла. Но за плечами у политрука был автомат, и солдаты про себя отметили: раньше Шакуров его не носил.

Куликов, как ни в чем не бывало, бодро, по-петушиному прокричал:

— Здравия желаем, товарищ политрук!

Шакуров долго глядел куда-то в пространство, потом, словно очнувшись, торопливо ответил:

— Здравствуй, Куликов.

Он стоял, что-то обдумывая, опять смотрел куда-то в пространство.

Куликов незаметно подмигнул Ремневу и Чумакову. Ремнев понял это по-своему. Подошел поближе, осторожно сказал:

— Покурим, товарищ политрук. Табачком легким раздобылись, — и вынул кисетик.

Шакуров отрицательно качнул головой:

— Нет. Не буду. Я бросил... — Внезапно обратился к Куликову: — Ты пойдешь со мной. Возьми ППД и два диска. Пять гранат.

«Зачем?» — удивился Куликов. Озадаченно посмотрел на товарищей. Политрук ждал. Тогда Куликов нырнул в землянку и вернулся с ручным пулеметом, с гранатной сумкой на поясе.

— Та-ак... — протянул Шакуров рассеянно. — Хорошо. Идем...

Они спустились в ложбинку. Политрук пошел впереди, протаптывая в снегу тропку.

Ложбинка становилась все глубже, густой ивняк цеплялся, стегал по лицу. Надвигались сумерки, снег становился чуть синеватым.

Куликов хотел и не решался спросить, куда они идут. А Шакуров молчал. Угрюмо торчащие трубы остались в стороне, ложбина круто поворачивала. Впрочем, теперь это был уже настоящий овраг с высокими берегами.

Шакуров шел не спеша, а между тем хилый, низенький Куликов едва поспевал за ним, сильно вспотел, шумно дышал. Несколько раз политрук оборачивался и поджидал его.

— Куда идем? — не вытерпел, наконец, солдат.

— Тсс! — втянул голову в плечи Шакуров, и лицо его потемнело. Он приложил палец к губам, внимательно посмотрел на Куликова. Тот весь сжался. «Точно. Сошел с ума политрук». Куликову стало жутко. Вокруг лес редкий, снег и снег, давят сумерки, ни шороха, ни единого звука, а он, Куликов, идет и идет, как привязанный. Рубашка его прилипла к телу, по щекам катятся соленые капли.

Куликов беспомощно оглянулся. Но вот Шакуров остановился, молча взял у него пулемет и диск, опустил в карман две гранаты, стал осторожно высовываться из-за гребня. Шепнул:

— Ползи за мной. Ни звука чтоб...

Куликов понял: они подкрадывались к расположению немцев. Следя за движениями осторожного Шакурова, подумал другое: «Нет, не сошел с ума. Не дурак. Голову не высовывает».

Политрук, разрывая снег, полз и полз. Только сапоги его — левый и правый — маячили перед глазами солдата, да снег легонько шуршал под ползущими.

Вдруг Шакуров остановился. Стал шарить в снегу руками. Осторожно вынул мину, внимательно осмотрел ее, отложил в сторону. По губам его Куликов угадал длинное слово: «противотанковая».

Поползли дальше. Теперь Шакуров едва двигался, засовывая руки в снег перед собой. Потом они съехали в канаву. Куликов прополз не-

сколько метров и увидел под собой темные пятна. Рыжие, как ржавчина. Догадался, политрук выбрал путь по канаве, в ней, должно быть, мин нет. Зато течет в овраг болотная вода. Дурно пахло. Шинель на животе быстро намокла.

Казалось, конца пути не будет. Канава пересекала поляну, тянулась к стене леса. Сумерки уже плотно накрыли безмолвную поляну. Политрук все двигался. Сапоги его маячили перед лицом Куликова. Но вот, наконец, он остановился. Снял шапку, старательно налепил на нее снег, надел и очень медленно стал высовывать голову. Вот он обернулся, шепнул:

— Швырнешь две гранаты вон туда, в сторону... Отвлечешь внимание. А я ударю отсюда... Видишь, вон немцы... — и стал устанавливать пулемет.

Куликова бросило в жар.

— Я еще ни разу не кидал...

Шакуров пристально посмотрел на него, затем покачал головой. Он вынул гранату и, отведя далеко назад руку, швырнул лимонку в сторону. И тотчас, прицелясь, ударил коротко из пулемета. Пронзительное эхо отозвалось в лесу. Шакуров ринулся в канаву и торопливо пополз назад. Он отдал пулемет Куликову и метнул вторую гранату, теперь уже в другую сторону.

Куликов едва поспевал за политруком. А над луговиной, еще несколько минут назад казавшейся мертвой, загрохотало и затрещало. В небе повисли осветительные ракеты. Красные трассирующие пули огненными строками расписывались над поляной. Пулеметы и автоматы захлебывались. Били минометы. А Шакуров и Куликов ползли и ползли к оврагу. И только скатившись на его дно, на минутку остановились. Потом Шакуров поднялся и, пригибаясь, пошел по проложенному следу. Куликов боялся отстать, все оглядывался, не бегут ли немцы.

В тальничке, возле осин, Шакуров остановился.

— Какой же ты солдат?.. Завтра займемся гранатами.

Скоро стрельба утихла. Шакуров и Куликов приближались к Жаркам.

— Ты ступай в третий дот, там печка, — сказал политрук. Он тут же вынул блокнот, что-то написал, мрачно усмехнулся: — Счет открыт... — Пристально посмотрел на Куликова. — Завтра придешь в восемь нольноль.

Прошло два дня. Шакуров решил обследовать левый край обороны, проходящий возле Пустых Озер. Там расположена третья рота. Это почти три километра от Жарков. Взял с собой Ремнева. Вышли, едва забрезжил рассвет. Ремнев нес пулемет и диски, в его гранатной сумке было с дюжину «лимонок».

Шли по хорошо утоптанной дороге. Слева по косогору — густой лес. Много елей и сосен, мало ольхи и осины. Кое-где лес пореже, и на таких плешинах растет черемуха. Весной, бывало, из окна своей избы Шакуров смотрел на этот лес. Меж темных веток хвои белели островки цветущей черемухи. Под склоном вилась Мга...

Сейчас Шакуров не мог ясно представить, как проходит линия фронта. На карте у Кисина она едва намечена. Проведена полоска восточнее Озер. Потом — западнее. Какая из них верная, — не знал и сам Кисин. Если западная, размышлял Шакуров, Пустые Озера попадают в расположение третьей роты. Если восточная, — они на ничейной полосе.

Политрук взглянул на Ремнева:

— Из дома письма получаешь?..

Ремнев удивленно покосился на командира.

— Редко. Последнее было месяца три назад.

— Что ж так?

Ремнев сказал неправду. Не хотел обижать политрука, тем, что вот все получают письма от родных, а у него, Шакурова, такое горе...

Потому и ответил:

— А что писать, товарищ политрук. Воевать надоть, фашистов бить. Так мне и папаня писал...

— Правильно пишет. Сам-то не в армии?

Ремнев смущенно покусал губы.

— Не-е, где ему... Я когда родился, папане было за пятьдесят.

— Ты, помнится, рязанский?

— Ага. Самый что ни на есть я рязанец!

— Это как же понимать?

Ремнев заулыбался:

— Может, слыхали про городок Спасск? На Оке стоит...

Шакуров задумался. Про такой городок не слышал.

— Про другой Спасск знаю... На Дальнем Востоке. — Он протяжно и тихо произнес: — Штурмовые ночи Спасска... волочаевские дни.

— Не, наш Спасск — рязанский. Так вот оттудова я. Шесть километров от Спасска как раз и деревня моя... А места-то знаете, товарищ политрук, какие у нас? Исторические... На берегу Оки — Рязань-матушка... Валы земляные сохранились. Со времени татарского нашествия... Битва в наших местах великая была... — Он помолчал, тяжело вздохнул. — А нынешняя Рязань — это совсем другой город. Километров девяносто от нас-то будет...

Было уже светло. Справа и слева стоял редкий осинничек. Кое-где торчали старые березы и редкие ели. Неподалеку дробно стучал дятел. Шакуров и Ремнев задрали головы, но дятла не сразу увидели. Его красная шапка с белыми наушниками изредка показывалась из-за толстого трухлявого ствола...

— Вот вернусь, расскажу ребятам, как нынче по лесу мы шли. Как все равно в мирное время, — задумчиво улыбнулся Ремнев.

Он вовсе не знал, не мог знать, что через два часа его тело повезут по этой же дороге обратно. И рядом будет идти политрук с темным лицом, с прищуренными печальными глазами. Долго не уснет политрук, думая о хорошем солдате. А утром по этой дороге, опять же к Пустым Озерам, поведет другого солдата. Там удобно подойти к врагу вплотную и внезапно ударить.

Из-за деревьев вставало северное апрельское солнце. Шакуров обходил землянки бойцов. В каждой землянке слышал одно и то же: «Везде бои, а мы застряли в проклятых болотах, у костров паримся...» Все ждали приказа о наступлении. Шакуров тоже ждал его. Зашел в землянку, где жил со своим отделением друг погибшего Ремнева, застенчивый атлет Чумаков. Сиплым голосом спросил, вглядываясь в полутьму:

— Есть тут кто живой?

— А как же, товарищ политрук, — выскочил юркий Куликов.

— Ну-ка, братец, бери автомат и гранаты!

Куликов мигом вооружился и стоял улыбающийся.

— На вылазку, товарищ политрук?

— Возьмите меня... — попросился один из бойцов.

— Меня, — заявил другой. — Ведь Куликов уже ходил, теперь меня возьмите.

— Отставить, — улыбнулся Шакуров.

И все поняли, что политрук не собирался сегодня в бой. Он лишь проверил готовность солдат.

— Когда же воевать будем? — спросил Чумаков. — Зря хлеб едим. Вон пишут из дому, — кивнул он на солдат, — хлеба нет, муку с картошкой пополам замешивают, а мы сидим тут, жрем.

— Потерпи, Чумаков, — вздохнул Шакуров. — Значит, так надо.

— Мы еще вот что хотели вас спросить, товарищ политрук, — продолжал Чумаков. — Хлеб у нас остается. А вот тут у одного товарища дома шестеро братишек и сестренок, и все младше его. Кабы послать им?

Шакуров влажными глазами смотрел на сильную фигуру солдата. Уходя из землянки, сказал:

— Нет такого положения, чтобы мы посылали наш паек домой...

Шел и все думал: «Шестеро братишек и сестренок и все младше его...» Вдруг память резанула острая боль: «Мишка, Надюшка...»

Последняя неделя жизни Шакурова была для него одними бесконечно долгими и мучительными сутками, в которых все сбилось, перемешалось. Измотанный, вернувшись из очередной вылазки, засыпал он в ка-

кой-нибудь землянке среди солдат. Дав телу и мозгу короткую передышку, снова обрушивался на врага.

Те, в мутно-зеленых шинелях, теперь уже знали его. Прячась за снежным бруствером, кричали:

— Фарикт комиссар! — (Сумасшедший комиссар). — Капут, капут!..

На четвертый день они уже знали его по фамилии. Установили громкоговоритель. Переводчик грозно орал:

— Шакуроф! Тфой холофа дум!.. Лофим на ферефка!..

Слова «глупый» переводчик не знал. Сказать «поймаем и повесим» не мог. Но это всем было понятно. Пуля Шакурова не брала. Во время шестой его вылазки весь батальон мог наблюдать, как немцы обнаружили политрука и как их команда егерей пыталась его захватить. Это была отчаянная схватка. На ничейной полосе перед разбитыми Жарками, на талом, осевшем снегу барахтались семеро...

Капитан Кисин, глядя в бинокль, кусал губы, и пальцы его мелко дрожали. Невозможно стрелять по этой куче своих и чужих.

— Эх, товарищ капитан! — вскинул серые доверчивые глаза Чумаков. — Кабы снайперские винтовки были. Помогли бы своим...

Своим — это Шакурову и Куликову.

Но в эти минуты «фарикт комиссар» прикончил четверых гитлеровцев, а пятый укрылся за громадным валуном и там словно прирос к земле. Куликов швырнул туда две гранаты. Кажется, в этот момент его ранило, а может быть, убило. Впрочем, вряд ли Шакуров потащил бы сейчас убитого. А он тащил, полз тяжело, измотанный вконец, даже не зарываясь глубоко в снежной борозде. Смотреть было страшно: движутся два воина, медленно, неуклюже... Взвод Чумакова прикрывал отход политрука шквальным беспорядочным огнем. Однако недолго. Бушующий огненный вал покатился по изрытой поляне. Немцы пустили в ход артиллерию.

Грохот разрывов долго не утихал. Никто не верил, что Шакуров погибнет. Он, как заколдованный, вот уже который раз возвращался целый и невредимый. Уничтожил около сорока фашистов.

Но едва прекратилась канонада, в командирский дот вбежал Чумаков. По лицу его катились крупные слезы.

— Товарищ капитан!.. — Чумаков устало опустился на табурет. — Убили! Убили... политрука... И наш Юра Куликов тоже...

Внезапно Чумаков поднялся во весь свой огромный рост, вытянулся и, приложив руку к каске, четко произнес:

— Разрешите обратиться, товарищ капитан?

— Да...

— Разрешите мне взять бойца и сегодня ночью в районе Пустых Озер произвести вылазку... И еще разрешите надеть форму политрука Шакурова. Пусть фашисты никогда не узнают о смерти нашего комиссара. Пусть они сойдут с ума!..

Н. Ходза

ЗВЕРЮ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА...



Я шел за ним следом, хотя отлично знал, куда он идет. Сейчас он пересечет улицу Коммунаров (теперь она называется Герингштрассе), свернет в переулок и, пройдя его, окажется на базаре. Хромой, обросший бородой, он станет ходить среди торговцев барахлом, заговаривать с ними, слушать, о чем болтают спекулянтки-бабы, а потом внезапно исчезнет, точно его никогда и не было среди этого жалкого торжища. И снова я увижу его только ночью...

Да, все так и было. Сначала он прицепился к старику. Старик держал на протянутой ладони желтый прозрачный мундштук и монотонно бормотал одни и те же два слова:

— Янтарный мундштук... Янтарный мундштук... Янтарный мундштук...

Хромой подошел к старику, взял с его ладони мундштук, понюхал, положил обратно и сказал негромко:

— Люди кровь за Россию проливают, а ты что?! Мундштуками спекулируешь!

Он пошел дальше, а старик, побелев от гнева, смотрел ему вслед, и на протянутой, дрожащей ладони его весело подрагивал золотистый янтарь. Старик заметил меня и сказал:

— Мальчик... мне семьдесят два года... дома у меня жена... парализованная...

А человек, припадая на правую ногу, затерялся в толпе. Я поспешил за ним. Мне нельзя было терять его из виду, и я нашел его. Он слушал

игру базарного музыканта. Слепой скрипач пиликал нелепый, судорожный танец «Ойра». В какой-то кинокомедии я видел — его танцевали буржуи.

Слепой кончил играть, залихватски резанув смычком по струнам, и положил на землю грязную, без козырька кепку. Никто в кепку музыканта не бросил ни одной марки, толпа растаяла, растеклась. Я стоял за спиной музыканта и видел, как приблизился к нему Хромой. Хромой оглянулся и сердито сказал:

— Надо фашистов бить, а ты на скрипке пиликаешь!

Слепой, задохнувшись от ярости, замахнулся на Хромого смычком, точно дубиной, но тот уже повернулся к нему спиной и исчез в какой-то лавчонке.

Теперь я мог не следить за ним. Я знал, что мне делать дальше.

Я выбрался из базарной толпы и очень скоро оказался в парке, близ немецких казарм.

После прихода немцев в наш украинский городок я еще не был в этом парке. А до войны мы всем классом ходили сюда смотреть представления в цирке шапито. И в то лето, накануне войны, я тоже был здесь в цирке. Город пестрел большими афишами: тигр прыгал на дрессировщика, а дрессировщик улыбался, потому что стоял спиной к зверю и не видел, что тот прыгает ему на спину.

Воспоминания мои прервались: в парке появился немецкий офицер. Он шел по аллее точно на параде — развернув плечи, высоко вскидывая ноги в блестящих лакированных сапогах. Офицер был красив, строен, и на рукаве его черного мундира веселое солнце беззаботно высвечивало белый оскаленный череп.

Едва он поравнялся со мной, как я вскочил со скамьи и вытянул вперед правую руку. Немецкий офицер заметил меня и, не останавливаясь, ответил мне фашистским приветствием. Я подождал, пока он свернет в боковую аллею, сел на скамью и, вместо того чтобы приступить к делу, снова вернулся к воспоминаниям.

...В тот июньский предвоенный вечер я был первым, кто ворвался под брезентовые своды шапито. Из всей программы я помню теперь только выступление дрессировщика.

Свет разноцветных прожекторов заливал желтую арену цирка. На арене, в золотом трико, помахивая хлыстом, стоял дрессировщик. Перед ним, на тумбе, досадливо жмурясь от яркого света, сидел тигр — красавец Самум. Какое это было зрелище! Тигр дрожал от ярости, фыркал, рычал и все же подчинялся артисту. Он становился на задние лапы, прыгал сквозь горящий обруч, позволял ездить на себе верхом, притворялся мертвым, катал по арене, точно котенок, красно-синий мяч. Наконец дрессировщик, отбросив помощнику хлыст, положил свою голову в огромную пасть зверя. Я похолодел. Я не сомневался: сейчас человек, обливаясь кровью, упадет на желтый песок арены.

Ничего этого не случилось.

Но едва дрессировщик вынул из пасти свою голову — зверь издал рык, от которого все втянули головы в плечи. Была в том рыке и бессильная злоба, и бешеная ненависть, и смертельная угроза... Но артист, словно ничего не слыша, повернулся к тигру спиной и широко улыбнулся публике.

Я был зачарован этим зрелищем! Я смотрел на дрессировщика, как на бога, и мне казалось: нет на земле человека красивее и могущественнее его.

Представление кончилось, погасло зазывное мерцанье электрических гирлянд, зрители разошлись. А я сидел на скамье в парке и ждал, когда же он выйдет. Я не мог уйти, не посмотрев еще раз на него.

Он появился в потертом костюме, в кепке с пуговкой на макушке. Артист шел усталой походкой, припадая на правую ногу. Во время представления я почему-то не заметил, что он хромой.

Не знаю, откуда у меня появилась такая смелость, но я подошел к нему и сказал:

— Возьмите меня в помощники... Я не испугаюсь...

Он вскинул на меня удивленный взгляд и остановился.

— Кого не испугаешься? — спросил он.

— Тигров...

— Что тебе известно о тиграх? — Не дожидаясь ответа, он пошел дальше. А я, не зная, что говорить, шел за ним следом и твердил каким-то деревянным голосом:

— Вы увидите... я не испугаюсь...

— Как тебя зовут? — спросил он не останавливаясь.

— Андрей... Я перешел в девятый класс. Осенью меня в комсомол примут...

Впервые он посмотрел на меня внимательно.

— Что скажут твои родители, если ты бросишь школу?

— У меня нет родителей... я детдомовец...

— А ты представляешь, как опасно работать с тиграми?

— Представляю...

— Ты осмелишься положить голову в пасть тигра?

— Не знаю... Нет, не осмелюсь, — признался я.

— А ты знаешь, что нет дрессировщика, который не был бы искалечен хищником?

— Вы же не искалечены, — сказал я.

— Разве ты не видишь, что я хромой?

— Это — тигр?

— Да... В прошлом году... Во время представления. Тигр-людоед прыгнул мне на спину. Тигры-людоеды подлые! Они страшатся человеческого взгляда и нападают со спины. Разве ты не боишься стать калекой?

— Я не повернусь спиной к зверю... Я буду смотреть тигру в глаза, всегда буду смотреть ему в глаза. Вы даже не заметите, если я испугаюсь... Только научите меня быть дрессировщиком, возьмите меня в помощники...

Нет, он не взял меня в помощники, но разрешил приходить к нему каждое утро — смотреть, как он дрессирует Самума. И как-то даже сказал мне:

— Не огорчайся. Кто знает, может статься, мы и поработаем с тобой когда-нибудь...

А через неделю началась война. И вот уже прошел почти год. Цирка нет, он сгорел. И Самум погиб во время бомбежки.

Вблизи раздался выстрел.

В городе теперь часто стреляли. Я рассердился на себя: нашел время вспоминать о тиграх! Разве об этом мне думать сейчас! Надо приниматься за дело!

Я вытащил из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, карандаш и начал писать печатными буквами, чтобы никто не узнал меня по почерку. Когда на пожарной каланче часы пробили десять, я поставил последнюю точку и прочел написанное. Мне понравилось, как я написал. В левом верхнем углу листа из школьной тетради я поставил дату: «14 апреля 1942 года». А ниже, посредине строчки, написал крупно: «Начальнику полиции». А потом отступил на три строчки (так мы в классе писали сочинения: после заглавия отступали на три строчки) и написал главное: «Сообщает Вам неизвестный. Сегодня я выследил коммуниста. Он ходил по базару, приставал к народу и стыдил, почему они не воюют с немцами. Он стыдил старика, который продавал желтый мундштук. Потом коммунист приставал к слепому скрипачу и тоже ругал его, зачем он не на фронте.

Этот коммунист, видно, партизан, потому что лицо его очень заросло кудрявой бородой. Я хотел за ним следить дальше, но он вдруг исчез. Но вы его, наверно, найдете, потому что он приметный — с кудрявой бородой.

Письмо не подписываю, потому что коммунисты-подпольщики убьют меня, если узнают, что я такое написал».

Я снова сложил вчетверо лист из школьной тетрадки, сунул его в карман и пошел к своей бывшей школе. Теперь там помещалась полиция.

Чем ближе подходил я к школе, тем медленнее становился мой шаг. Еще издали я заметил у дверей школы приземистого полицая и узнал его по несуразно большой голове. До прихода немцев он был гардеробщиком в центральной бане. Сейчас он стоял на часах и насвистывал старинную казачью песню. Я знал эту песню, не раз мне певал ее покойный дед, и хоть не было у меня никакого слуха, я любил эту песню петь про себя.

Уж два роки, як в кайданах
Закован руки...
Защо, боже милосердый,
Нам наслав ты муки...

Когда дед доходил до этих строчек, к горлу моему подкатывал горький ком...

Я прошел мимо банщика — он даже не посмотрел в мою сторону. Я вернулся, остановился у крыльца, на котором он стоял.

— Пан полицай, — сказал я, не узнавая собственного голоса.

Он перестал свистеть и выкатил на меня круглые глаза. Тогда я протянул ему письмо.

— Пану начальнику полиции. Передайте, пожалуйста, пану начальнику...

— Тю! — беззлобно удивился полицай. — Хиба ж я тоби прислужник чи що? Отдай в дежурку. Ви́сьма кимна́та...

Я поднялся по ступенькам и прошел в коридор моей бывшей школы. Это удивительно, но дежурка помещалась именно в восьмом классе, в котором я учился год назад.

Теперь, конечно, здесь не было никаких парт. У окна стоял стол из школьной канцелярии, за столом сидел костлявый полицай с редкими обвислыми усами.

— Вот! — сказал я и, бросив письмо на стол, поспешно вышел из комнаты.

— Стой, хлопчик! Стой, бисов сын! — стул под дежурным заскрипел и свалился.

Я был уже на крыльце, когда он меня настиг. Одной рукой полицай схватил меня за ворот рубахи, а другой закатил такую оплеуху, что перед глазами моими бешено завертелись цветные круги и змеи.

— Ты от кого тикаешь? От кого, спрашиваю, тикаешь?! — Дежурный втащил меня в мой бывший класс и снова влепил мне пощечину.

Я устоял на ногах, но в ушах противно загудело.

Не обращая больше на меня внимания, дежурный развернул мой листок.

— Это пану начальнику, не вам, — осмелился я подать голос.

На лице полицая появилось страдальческое выражение.

— Нет, вы подывитесь на неразумного хлопчика! — тоскливо сказал он. — Ему, бачьте, мало двух затрещин! Вин хоче, щоб его вынесли ногами вперед! Так я ж то могу сделать! Ще не поздно!

И, тяжело вздохнув, он стал читать мое письмо.

В ушах моих все еще стоял гул, а сердце стучало где-то возле горла.

Полицай читал печатные строки, и белесые брови его подымались все выше и выше. Ему понадобилось менее минуты, чтобы прочесть все, что я написал. Он вскочил с места и вцепился в мою руку:

Идем до пана начальника! Слухай меня! Если ты в своей цыдуле набрехал, — простись с маткой, простись с батькой, здоровкаться будешь с господом богом на небесах! Идем!

Свирепая пасть тигра была раскрыта, и голова моя лежала в ней!

Начальник полиции чудовищно косил — зрачки его глаз сходились у самой переносицы, оставляя на виду белки с кровавыми прожилками. Он сидел в кресле, большой, грузный, ему было жарко, и круглое бабье лицо его лоснилось от пота.

— Когда это было? — спросил он и спрятал мое письмо в ящик.

— Сегодня, пан начальник.

— Я спрашиваю, во сколько часов это было?

— У меня нет часов, пан начальник. Только я помню, пан начальник, что у часовщика в окне было девять часов.

Он взглянул на свои часы.

— Сейчас одиннадцатый... Делай так, Шевчук, — начальник повернулся к полицаю. — Бери пацана и дуй с ним на барахолку. Пусть укажет того старика с мундштуком и того слепца со скрипкой. Если слова его подтвердятся, — вертайся с пацаном сюда. Не подтвердятся — вези сразу в лагерь, чтобы не шутковал боле с властями! Ступай, Шевчук!..

Мне повезло: старик и скрипач стояли на прежних местах. Старик, как и утром, бормотал все те же два слова: «Янтарный мундштук... янтарный мундштук». Слепец пиликал свою бойкую «Ойру». Другое играть он, видно, не умел.

Без всякого труда полицай убедился, что в письме моем все правда.

— Твое счастье! — сказал Шевчук. — А то бы!.. Геть к начальству.

На моей руке женские часы, подарок начальника полиции. Часы идут не очень хорошо, потому что они старые. Их сняли с руки одной расстрелянной комсомолки. Заодно расстреляли и ее бабушку, у которой она пряталась. Перед расстрелом с комсомолки сняли часы, а со старухи — крестик серебряный. Часы начальник полиции подарил мне, а крестик повесил на шею своей маленькой дочери.

Пан начальник приказал мне торчать на базаре, следить, не появится ли Бородач. Еще он приказал сообщать ему лично о всех, кто говорит против нового порядка, против немцев. Он спросил, где я живу, кто мои родители. Я сказал, что я сирота, а живу на базаре, в заброшенной лавчонке. Тогда начальник распорядился, чтобы мне дали деньги на еду и приказал поместить меня в общежитие к пожарникам.

Я ходил по базару три дня подряд, но Бородатого, конечно, не встретил. На четвертое утро я пошел в городской клуб. Раньше это был клуб

имени Октябрьской революции, а теперь его сделали клубом для немецких офицеров. Я пошел в этот клуб, чтобы повидать киномеханика Гусева. Трофима Семеныча Гусева. До войны он был затейником в Доме пионеров и вел с ребятами кружок киномехаников. Я в этом кружке считался самым первым.

Когда пришли немцы, Гусева арестовали. На первом же допросе он сказал, где скрывается директор Дома пионеров. Директор был коммунист, и его повесили, а Гусева выпустили из гестапо. И не зря выпустили. Потому что он вскоре заметил на улице знакомую комсомолку, пошел за ней следом и узнал, у кого она прячется. Часы этой комсомолки теперь на моей руке...

Я застал Трофима Семеныча в его будке. Он наматывал на бобину кинопленку. Я поздоровался, а он вместо приветствия сказал:

— Интересное кино вечером будет. «Немцы — господа мира» называется.

— Вот бы посмотреть! — вздохнул я.

Он даже засмеялся:

— За малым дело стало: стань немецким офицером и смотри сколько хочешь!

Я тоже засмеялся. А потом стал свертывать цигарку из махорки. Раньше я никогда не курил, и у меня получилась сейчас очень большая и неуклюжая закрутка.

— Откуда табачок? — спросил Гусев.

— У входа в клуб тетка продает.

— Ну да? А я без курева! Сиди, я сейчас!

И он бросился вниз, а я остался в будке один...

Гусев вернулся злой. Торговки внизу не оказалось.

— Ладно, — сказал я. — Будет вам табак...

Я отсыпал ему махры закруток на пять и ушел.

Шевчуку я доложил, что Бородатого пока что не обнаружил, но заметил подозрительное в кинобудке: когда я вошел к Гусеву, он быстро сунул за кресло какие-то бумаги. При этом Гусев был очень бледен и у него тряслись руки.

Шевчук подергал свои жиденькие усы и сказал, что я дурень: Гусев человек проверенный. Ему даже разрешено носить огнестрельное оружие, чтобы он мог, в случае чего, стрелять.

Но все-таки Шевчук доложил о моих словах пану начальнику. Начальник тоже сказал, что я дурень, но на всякий случай сообщил о моих подозрениях в гестапо.

— Придешь завтра утром, — сказал начальник, хрипло дыша. — Посмотрим, какой ты есть сыщик.

...Я пришел в полицейское управление ровно в девять. Шевчук сразу же потащил меня к пану начальнику, а пан начальник как увидел меня, даже встал. И долго тряс мне руку и благодарил меня. Оказы-



вается, гестапо сделало обыск в будке Гусева и нашло за рваной обшивкой кресла партизанские листовки. Листовки кончались наглыми словами: «Смерть немецким оккупантам!»

— Гусев этот дурачком прикинулся! — рассказывал начальник. — Дескать, «ничего не знаю, первый раз вижу». Несет всякую ерунду. Ладно! В гестапо не таким язык развязывали! Будет болтаться с высунутым языком на виселице! А тебе, Андрей, благодарность от меня лично. Принимай, держи! Вот тебе триста марок. Если есть просьба какая, — говори.

Тогда я сказал, что у меня есть просьба: хучу работать киномехаником в офицерском клубе. Вместо Гусева.

Пан начальник заверил, что завтра же устроит меня в этот клуб и пообещал:

— Помоги поймать Бородатого, получишь тысячу марок!

Я сказал, что обшарю весь город, а с Бородатым встречусь, обязательно встречусь.

Пан начальник улыбнулся довольный, и мне показалось, что зрачки его глаз совсем исчезли. И хотя мне было страшно, но я пересилил себя и взглянул в его белки с кровавыми прожилками.

Я работал в офицерском клубе уже десять дней, и мною были довольны. У меня не рвалась пленка и кадры всегда были в рамке.

Накануне первого мая меня вызвали к начальнику полиции. Я вошел к нему и увидел сидящего на диване гестаповского офицера. Это был тот самый офицер, которого я приветствовал тогда в парке. Я и сейчас увидя его, вскинул правую руку вперед и громко сказал:

— Хайль Гитлер!

— Хайль! — воскликнул поспешно пан начальник. А немецкий офицер ничего не сказал, только пристально посмотрел на меня. Я стоял и ждал, когда начнут со мной говорить. А офицер не спускал с меня сверлящих глаз, и я понял, он старается вспомнить, где меня видел. Должно быть, он не мог вспомнить, и оттого глаза его становились все злее и злее.

Наконец он заговорил:

— Первого мая ты покажешь одну новую картину. В клубе будет один большой вечер. Туда придут важные офицеры. На этом сеансе все должно быть отлично! Ты меня понял?

Офицер говорил по-русски, и я все понял, конечно.

— В твоей будке не должно быть никого постороннего. Иначе ты будешь расстрелян как заговорщик. Ты меня понял?

— Так точно, господин гауптман, я вас понял.

— Тогда ступай и помни мои строгие указания.

И я ушел.

Немецкие офицеры пришли, как всегда, вовремя. Сеанс начинался в двадцать один час, а в двадцать часов пятьдесят пять минут все уже сидели на своих местах. Я сосчитал: сто сорок три немца, из них — один генерал. Генерал в обществе двух полковников и начальника гестапо сидели в единственной ложе нашего клуба. Начальник гестапо не переставая что-то говорил, а генерал, широко открыв рот, откинувшись на спинку кресла, покатывался со смеху. Я сразу догадался, что начальник гестапо рассказывает смешные анекдоты про евреев или про коммунистов.

Я смотрел, как смеется генерал, и тоже улыбался...

Ровно в двадцать один час в зале стало темно, я запустил картину. Это был фильм о Польше. Хроникальные кадры. Как армия фюрера завоевывала Польшу. На экране рвались снаряды, выли пикирующие бомбардировщики, рушились с грохотом дома, полыхали пожары, падали убитые, в ужасе метались живые. В конце картины на экране появился фюрер. Все вскочили и трижды выкрикнули:

— Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!..

Фильм окончился. Через десять минут должен был начаться концерт. Я натянул поглубже кепку и вышел из клуба. Черная густая ночь придавила мне плечи. Я двигался почти ощупью, едва передвигая ноги. Не знаю, что со мной случилось, но мне вдруг захотелось спать, ужасно захотелось спать. Я не сомневался, — стоит мне сейчас прислониться к чему-нибудь, и я усну стоя, усну мгновенно. Нет, мне нельзя было сейчас останавливаться, я шел и шел, пока не оказался на пустынной окраине города. И здесь я услышал за своей спиной отдаленный грохот двух взрывов, один за другим! Точно такой же грохот тридцать-сорок минут назад сотрясал на экране маленькие города Польши. И, смотря на экран, немецкие офицеры восторженно кричали: «Хайль Гитлер!»

Взрывы точно разбудили меня, сон мгновенно исчез, и я побежал по кривым закоулкам пригорода. На повороте я оглянулся и увидел далеко в городе огненный столб, точно смерч, подпирающий черное небо. Багровый дым пожарища затягивал звезды и отбрасывал на землю нежную розоватую тень.

Я добежал до знакомого дома, дверь в нем была открыта, меня ждали. Человек, лицо его в темноте нельзя было рассмотреть, сжал меня в объятиях, и я почувствовал на щеке прикосновение его шершавых губ.

— Сработали! Обе сработали!.. — восторженным шепотом сказал он.— Какой взрыв! Какой отличный первомайский салют!..

...И вот мы сидим в темноте у окна, не отрывая глаз от багровых клубов дыма.

— Ты подложил их, как условились? — спрашивает человек шепотом, хотя в доме никого, кроме нас, нет.

— Да... Одну в ложу, где сидел генерал, другую — в свою будку, за кресло...

— Да. За то самое, куда я запихал в тот раз партизанские листовки «Смерть немецким оккупантам!»

— Я уже сообщил куда следует, что ты избавил нас от предателя Гусева... Завтра я переправлю тебя к партизанам.

— А вы?

— Останусь здесь... Я ведь не один. И сейчас я нужен здесь. Ты будешь у партизан, и тогда я почувствую себя в полной безопасности...

— Как это?

— Не понимаешь? Ты же единственный человек в нашем городе, кто выслеживал меня.

Он тихо смеется и касается рукой моего плеча.

— Их было сто сорок три, — говорю я. — Сто сорок три человека.

Он подымается со стула и, припадая на правую ногу, ходит по комнате.

— Сто сорок три тигра-людоеда! — произносит он задумчиво. — Эти уже не бросятся на людей, не нападут со спины... Да... Ты не испугался положить голову в пасть тигра... Кончится война — и, как знать, пожалуй, я возьму тебя в помощники...

Борис Раевский

ОТЕЦ



На третьем этаже большого старого дома открылась форточка.

— Геннадий!

Генька стучал во дворе костяшками домино. Он поднял голову. Отец в подтяжках стоял возле окна и махал рукой.

— Иду! — неохотно буркнул Генька.

Еще немного поиграл с приятелями — пусть видят: не очень-то он торопится, он человек самостоятельный — и поднялся домой.

— Ужинать, — сказал отец.

Генька стал привычно накрывать на стол. Расстелил скатерть, положил вилки, ножи. Отец принес из кухни сковородку с яичницей, кипящий чайник. Через плечо у отца перекинуто полотенце. Это висящее полотенце всегда раздражает Геньку: «Как у кухарки».

Отец небрит. Усталые глаза на худощавом, морщинистом лице. Надо лбом — глубокие залысины. Ему около сорока, но Геньке он кажется стариком.

Молча поели. Потом вместе быстро убрали со стола.

Генька сел за уроки.

Отец принес из кухни эмалированный таз, налил горячей воды, надел на себя фартук. Все движения его — и когда он мылил белье, и когда тер его на ребристой металлической доске — были хваткими, спорыми.

— Я ж вчера целый тюк уволок в прачечную, — хмуро сказал Генька. — Чего ж не всё сдал?

— Мелочишка! — улыбнулся отец. — Платки, носки... Не сдавать же каждую тряпицу? Да мы что, мы люди привычные... Солдат — он, знаешь, и пуговицу пришьет, и кашу сварганит, и постирает. Солдат шилом бреется, дымом греется.

Генька отвернулся. Отец всегда, когда стирает, отшучивается, и прибаутку насчет солдата Генька уже слышал. А сам небось на кухне не стирает. Все в комнате. Стыдно, видать, на кухне-то стирать. Среди женщин...

Генька уже привык без мамы. Столько лет прошло... И все-таки... Главное, пусто как то без мамы. Пусто и слишком тихо. Мама была веселая и смеялась так, что даже отец-молчун и тот, бывало, расшевелится. И дома... Будто бы порядок: и обед отец сам варит, и белье чинит, и пол моет по очереди с Генькой. А все не так...

Нет, вообще Геньке в жизни не везет. Определенно не везет. Мама умерла. А отец... Отец тоже не очень-то...

Нет, он не дерется, не пьет. И все покупает Геньке. Вот недавно с получки сразу две рубашки принес. И еще фонарик-динамку.

Но... какой-то он скучный... Слишком обыкновенный. И работа у него — кладовщик — тоже какая-то... Нет, Генька уже не маленький, Генька отлично понимает, что и кладовщики нужны. Без кладовщика никакого порядка не было бы, все инструменты и материалы валялись бы где попало, без присмотра, без ухода.

А все-таки, как ни крути, кладовщик — это не физик-атомщик. И не летчик-испытатель. И даже не тракторист.

...Быстро расправившись с уроками, Генька, не надевая тужурки, спустился этажом ниже к Кольке Самохину. У того — классный магнитофон. И ребята сговорились покрутить вечером новые записи.

Когда Генька вошел, Коля сидел с отцом у круглого стола, заваленного какими-то альбомами, вырезками из газет, фотоснимками.

— Подсаживайся, — кивнул Колька и опять повернулся к отцу. — А это что? — он держал в руке снимок.

Генька посмотрел: связанные одной веревкой, пятеро альпинистов, маленькие, точно мухи, карабкались по сверкающей ледяной горе.

— Восхождение на Кызылтау, — ответил отец. — Это давно, в пятьдесят первом... Ну, а где тут я?

Колька и Генька стали вглядываться в фотографию. Была она большой: 12 на 24. Но все равно альпинисты, снятые откуда-то снизу, казались крохотными и одинаковыми: все в темных очках-консервах, все с огромными, как сундуки, рюкзаками и ледорубами.

— Вот! — сказал Колька.

Генька указал на другого.

Но оказалось, оба не угадали.

— Ох, и досталось нам на этом Кызылтау, — покрутил головой Колькин отец. — На подступах к вершине легли на ночь в палатки.



А утром — не вылезти. Пурга. Замело совсем. Два дня и три ночи отсиживались, — он опять покрутил головой.

Генька во все глаза глядел на него. Смелый, наверно. И лицо — как в кино: нос орлиный, крутые скулы, серые навыкате глаза. И косой шрам на лбу не портит, а словно даже украшает, делает еще мужественней. И пиджак какой-то необычный. Вроде и пиджак, вроде и нет. Широкий, как куртка, из мягкой, ворсистой шерсти, и на лацкане значок «Мастер спорта».

«Это тебе не кладовщик!» — с горечью подумал Генька, но тотчас обозлился на себя. В конце концов это нечестно. Несправедливо. Отец не виноват. И не всем же быть мастерами спорта!

Домой Генька вернулся часов в десять. Отец уже лежал в кровати.

— Ты что? — удивился Генька. Обычно отец ложился гораздо позже его.

— Знобит чего-то. Простыл, верно... — отец зябко поежился под одеялом, и голос его звучал виновато: вот, мол, захворал, теперь лишние хлопоты.

— Чаем напоить? С малиной?

Так всегда делала мать, когда Генька простужался.

Не дожидаясь согласия отца, Генька поставил чайник на газ, попросил у соседки малинового варенья, напоил отца и сам вскоре лег. Отец никогда не болел даже насморком, и теперь Генька растерялся. Надо завтра в аптеку сбегать, врача позвать, надо обед самому сварить...

«Только этого и не хватало», — словно подслушав его мысли, вздохнул отец, и кровать под ним тяжело заскрипела...

Прошло уже десять дней, а отец все лежал. У него началась какая-то «атака на сердце», ревматическая атака. Генька не знал, что это такое, но одно понял твердо: отцу надо лежать, спокойно лежать, может быть, недели три, а может, и целый месяц. Обязательно лежать, иначе... С сердцем шутить нельзя.

Отец не привык болеть и не умел болеть. Он все тревожился, что Генька не накормлен, что уроки ему теперь делать недосуг, так недолго и на второй год... Беспокоился и насчет работы: кто там теперь в кладовой? Наведет, наверно, порядочек!..

Отец и вообще-то казался Геньке скучным, а болел он совсем скучно. Как-то слишком тихо. Лежит целый день на спине, подложив руку под голову, и глядит в потолок. Что он там нашел интересного, на потолке? Все трещинки, наверно, наизусть вызубрил.

Лежит, словно бы размышляет. А чего ему размышлять? Не физик-атомщик: тот может лежать и какую-нибудь новую теорию изобретать. И не поэт: тот, наверно, когда болеет, стихи сочиняет. А кладовщику-то что размышлять?

Генька притащил отцу целую стопку книг: и классиков, и про шпионов, и фантастические. Но отец почитает с часок, а потом опять лежит, думает, потолок изучает.

И одно развлечение: друзья-приятели.

Генька и не знал, что их у отца столько. Раньше они домой к нему не ходили. А теперь чуть не каждый день кто-нибудь. А бывает — и по два, по три за вечер.

Придут — и говорят, говорят, говорят... Все вспоминают. Только и слышно: «А помнишь?», «А помнишь?», «А помнишь?»

Геньке сперва смешно было: придет какой-нибудь толстый, лысый дядька, а отец ему: «Здорово, Васька!» Ничего себе «Васька» — пудов на шесть!

А тот отцу: «Петька, дружище!» Странно, когда твоего отца — «Петькой».

Полюбились Геньке эти посещения. Нет, вовсе не потому, что отцовы друзья всегда приносили какие-нибудь гостинцы. Да и носили они, будто сговорились, одни яблоки. «Витамины!» А Генька с малолетства эти самые витамины не уважал. Эскимо, или там конфеты, или орехи куда лучше.

Нет, друзья отца нравились Геньке своими разговорами. Придут и говорят. И даже отец, обычно такой молчаливый, оживляется и тоже говорит, говорит, говорит...

Первым навестил отца тот самый шестипудовый «Васька». Огромный, тяжело дышащий — еще бы, поноси-ка такую тушу! — он уселся возле кровати и долго обтирал лысину платком.

Геньке он напоминал моржа: жирный, аж лоснится, и фыркает, и усы торчат, а глазки — острые, как буравчики, сверкают где-то в глубине.

Отдышался этот «Васька» да как загрохочет. Голос у него — что труба! А смеется гулко, будто обвал в горах.

Сперва они с отцом наперебой каких-то дружков вспоминали:

— А Мотьку помнишь?

— А Симу помнишь?

— Это черненькую-то? С кудерьками? Которая с дерева сверзилась? Ну, как же!..

— А Федю-ушастика помнишь?

— А Томку?

Глупый какой-то разговор. Генька сидел в углу, за столом, делал алгебру и одним ухом слушал эти бесконечные «а помнишь?». И не надоест им?!

Но вскоре разговор стал настоящим.

— Эх, Петька, Петька! — вдруг растроганно сказал «Васька». — Умирать буду, захочется в последний миг что-нибудь самое важное, самое стоящее вспомнить, и вспомню я...

— Знаю, знаю, — перебил отец. — Кукушкино...

Верно, Кукушкино, — огромный «Васька» вдруг помрачнел. – Нет, ты не отмахивайся! Не шуткуй. Это ж подумать! .. Я и теперь, хотя двадцать годков минуло, как не сплю иль на душе кошки скребут, — вспомню, как ты меня, раненного, через эту чертову реку тащил, и все. Все мелочи куда-то сразу пропадают, все поганое проваливается, а на душе — только свет. Я теперь аж представить себе не могу: ты, клоп такой, меня — слона, с оружием и в амуниции, на себе через реку прешь...

И холод — осень ведь... И фрицы по реке палят. А ты плывешь и меня...

— Да брось! — засмеялся отец. — Ну что, в самом деле?! Как встретимся — обязательно ты эту переправу... Да ну ее! Выбрались — и ладно... Ты вот лучше скажи,— Костика видишь? Где он теперь?

И разговор перешел на какого-то Костика, который, оказывается, работает в Совнархозе и чем-то там ворочает.

Чем — Генька не разобрал.

Генька сидел у себя за столом. Уши у него пылали.

«Вот так так! Отец-то! Отец...» Генька знал, конечно, что отец когда-то воевал. И орден имеет, и медали. Но рассказывал отец о войне неохотно и то лишь, когда Генька очень уж приставал.

И выходило, по его рассказам, что в общем-то на войне ничего интересного: ну, окапывался, ну, из болот месяцами не вылезал, ну, бывало, не спал трое суток.

А оказывается!..

Прикрыв глаза, Генька видит мутную осеннюю реку, столбы воды от разрывов и плывущего отца. Одной рукой загребает, другой тащит за волосы этого шестипудового «Ваську». А тот весь в крови. Вон, до сих пор возле уха отметина.

Непонятно только, как отец держит винтовку? Ведь обе руки заняты. А может, у него автомат — на ремне? Или пистолет?

Хотел Генька спросить об этом, да застеснялся.

А «Васька» с отцом уже о другом говорят: как ворвались вслед за танками в один немецкий городок, входят в уцелевший домик, запыленные, разгоряченные, пить страшно хотят, а немец-хозяин побледнел, сует им какие-то часы, браслеты, цепочки.

— Нет, нет, — объясняет отец. — Пить! Тринкен! — и руку ко рту подносит, будто пьет.

Но немец с перепугу не понимает и все тычет, тычет свои золотые вещички.

«Васька» гулко грохочет, даже стул под ним прыгает. Отец, лежа, тоже смеется, тихо, словно про себя. Да, здорово тогда немец струхнул!

Долго еще сидит «Васька». Они с отцом все говорят, говорят, а потом вдруг начинают петь. Генька беспокоится: не вредно ли это отцу? Но тот улыбается: «Ничего, я тихонько».

Песни очень хорошие, не знакомые Геньке. Сперва про землянку, где в тесной печурке бьется огонь и на поленьях смола — как слеза. Потом про девичье окошко, на котором горит огонек. И про дороги, где пыль, туман да степной бурьян.

Отец словно бы и не поет — лишь чуть-чуть намечает мелодию, и раздумчиво, грустно, с большими перерывами подкрепляет ее словами. Прикрыв глаза, он ведет песню так душевно, что у Геньки в горле аж накипает комок.

Только поздно вечером уходит «Васька». А Генька еще долго не ложится. Сидит за столом, пытается решать задачи, но они сегодня что-то никак не решаются.

То и дело украдкой бросает Генька быстрые взгляды на отца: лежит он, худой, небритый и тихий-тихий. Лежит, глядит в потолок. Такое будничное, неприметное лицо. Генька мысленно видит, как отец несет сковородку с яичницей и на плече у него висит кухонное полотенце.

В голове у Геньки все еще как-то не совмещается это полотенце и переправа под огнем, таз с грязным бельем — и танковый рейд в Германии.

Поздно ложится он спать. Долго ворочается с боку на бок, слушает, как бормочет, тихо стонет во сне отец. Наконец засыпает и Генька. И снится ему бушующая река, столбы кипящей воды, разрывы мин и плывущий отец. Плывет и тянет через реку шестипудового «Ваську». Немцы злятся, в ярости бьют по реке из автоматов и минометов. А отец плывет! Плывет, несмотря ни на что!

Как Чапаев плывет!

Л. Шестаков

ТО БЫЛ НЕ ПОСЛЕДНИЙ УДАР...



Стиснутая сумерками, чадит на письменном столе коптилка — капелька желтого пламени. Не столько светит, сколько разбрасывает тени по всей комнате, настывшей и неприбранной. У этого слабого огонька хватает сил лишь на то, чтобы высветить одну-единственную точку, которая блестит, отражая лучи.

Это — серебряная дощечка, вделанная в ножны старой кавалерийской шашки, прикрепленной к стене над столом. На дощечке надпись, врезанная в серебро гравером, который знал свое дело. Но ее не прочесть: слишком мало света.

Впрочем, Сергею Ивановичу и не надо читать. Ведь это его именное оружие; надпись врезалась в память, пожалуй, поглубже, чем в серебро...

Исхудалый, седой, он мерзнет под одеялом и чувствует, как уходят последние силы. Ему даже есть не хочется. Только лежать и не шевелиться... А мозг работает ясно и четко, выхватывая из памяти картины минувшего. Он ли это ходил в атаки, слитый с конем, опьяненный своей удалью, силой и молодостью? Его ли это клинок на стене, некогда такой легкий в руке и такой тяжелый, неотразимый в ударе? Или все это только приснилось... Судьба не пощадила его в гражданскую войну от пули, от сабельного удара, от тифа, но она сберегла ему жизнь. Так неужели только для того, чтобы посмеяться над ним сейчас, в старости? И не лучше ли было погибнуть в том последнем бою под Перекопом, в котором сложил голову командир и друг Семен Хомутов, а сам Сергей Иванович был ранен навылет в грудь... Конечно, ему хотелось выжить,



Но мог ли он предвидеть, что спустя годы придется умирать в родном городе, обложенном со всех сторон заклятыми врагами? Умирать на кровати, от голода, а не в бою, как подобает коммунисту и конармейцу...

«Вот как эта коптилка, — со злостью подумал Сергей Иванович. — Чадит, пока есть несколько капель керосина. А выгорит и — крышка...»

Так зачем же берег он свое боевое оружие, если последний удар давно уже нанесен? Выходит, играл в игрушки... А дальше оружию ржаветь и валяться без хозяина...

— Ш-шалишь! — со свистом вырвалось из впалой старческой груди. — То был не последний удар!..

И если бы услышал это «шалишь!» кто-нибудь из боевых товарищей старого конармейца, он вспомнил бы его молодым, летящим на взмыленном коне, с клинком, вскинутым для удара.

Превозмогая боль в опухших ногах, Сергей Иванович встал, надел шубу и шапку. Худой, желтый и страшный.

Опираясь на толстую палку, он вышел из квартиры, постоял на площадке, соображая, запирать ли дверь. Потом слабо махнул рукой и пошел.

Он шел медленно, сберегая силы, словно прощупывая ногами скользкую, обледенелую землю, по которой ступал.

Изредка попадались навстречу какие-то закутанные женщины, но им не было дела до незнакомого высокого старика, бредущего куда-то сквозь ночь. Ему тоже ни до кого не было дела, он знал одно: надо во что бы то ни стало дойти!

И он дошел.

В Институте переливания крови дежурная медсестра подняла на Сергея Ивановича опухшие от бессонницы глаза, спросила:

— Вам кого, дедушка?

— Тебя... Скажи, милая, сколько у человека крови? Ну вот, например, у меня?

— Н-не знаю... Это по-разному...

— Тогда скажи, сколько вы берете у донора?

Она ответила и в недоумении пожала плечами.

— Ну, так бери у меня. Бери всю...

— Вы с ума сошли! Да и какая сейчас кровь, в полночь?..

— Обыкновенная, дочка, человеческая кровь. Та, которая в молодом теле еще крепко послужит Родине. А что среди ночи, так ты уж извини. Утра-то надо еще дождаться, а это не всякому дано...

Р. Погодин

ВОР



Пушки на время утихли. Вновь открылись солдатскому глазу цветы, незаметные в наступлении, низкий лет шмелей и нежданная красота неглубокой неровной пашни.

Хозяйка фронтов — пехота — сшибла врага с высоток, выгоняла из перелесков, выковыривала штыком из окопов.

Танкисты отодвинулись с фронта. В побитую тыловую деревню. Пришла пора осмотреть машины. Они первыми пойдут на огонь, а в такой час и моторы, и артиллерия танков должны действовать безотказно.

Танкисты снимали ботинки, окунали ноги в траву. Бежали к колодцам, чтобы хоть на короткое время смыть с себя пот и запах войны.

Колодец в деревне один, остальные порушены. И деревня мала, и жителей в ней осталось мало. На такое количество и одного колодца — залейся: и пить, и для бани, и для бритья. Только некому бриться, разве что фронтовой солдат поскоблит задубелые щеки, чтобы вспомнить гражданскую жизнь.

До войны деревня была небольшая, оттого и название — Малявино.

Танкисты облепили колодец — ведра не вытащить. Кожа зудит — требует мыла. А когда спех, тогда и обида, когда обида, тогда — брань.

Лейтенанту стало скучно слушать пустую солдатскую перебранку, а может, невтерпеж дожидаться своей очереди. Он снял гимнастерку и голый по пояс пошел искать луговой ручей.

Возле ручья он встретил мальчишку, которого потом помнил долго.

Мальчишка сидел у ручья, смотрел, как заходят в деревню танки, как они залезают в тень под деревьями. Возле него копошили землю две сухогрудые курицы. Неподалеку кормился бесхвостый петух.

— Гулять вышел? — спросил у мальчишки танкист.

Мальчишка поднялся. Серьезный и сморщенный. Покачнулся на тонких ногах.

Он был худ, и одежда на нем была худая, залатанная и нетеплая.

— Я не гуляю. Я курей пасу.

Танкист засмеялся. На отдыхе, в безопасности ему было весело, и все невоенное казалось ему незначительным.

— Зачем их, курей, пасти? Пусть сами питаются, чего нужно клюют.

Мальчишка не ответил, отогнал куриц от ручья и сам отошел.

— Ты, может, меня боишься? — спросил танкист.

— Тебя не боюсь. Ты вон какой сытый. А по деревне всякие люди ходят.

— Так ведь наши ходят, не какие-нибудь.

— Наши тоже курятину любят, — сказал мальчишка и кивнул на бесхвостого петуха.

Петух косил на танкиста пуганым глазом, отворачивал свой горемычный хвост, готовый, чуть что, уносить свое мясо и лётом и скоком. Танкист почувствовал стыд за неизвестного ему солдата...

— Мужики — они все могут есть. А у Маруськи Варварихиной, у Сережки Татьяниного, у них от рахита ноги свело. Им яйца есть нужно. Они совсем выросли, а ходить на ногах не могут. И Тамарка, бабушки Веры внучка.

Мальчишка был маленький, лет восьми-девяти, но танкисту вдруг показалось, что это старый уже человек, только не поднявшийся в рост от войны и голодных харчей.

— Хочешь, я тебя угощу? — сказал танкист. — У меня в танке пайковый песок есть — сахарный.

Мальчишка кивнул: угости, мол, если не жаль. И когда танкист заспешил обратно к своей машине, мальчишка догнал его.

— Ты в бумажку мне нагреби. Мне терпеть будет легче. А то я его весь слижу и другим не достанется.

Танкист принес мальчишке сахарного песку в газетном кульке и сел рядом с ним подышать землей и весенними нежными травами.

— Батька где? — спросил он.

— А убитый. Еще позалетошним годом, когда фашист наступал.

— Мамка?

— А в поле. Она с бабами пашет, чтобы рожь сеять. Ее председателем выбрали. У других баб ребятишек по нескольку — они их за юбку держат. А я не капризный, со мной свободно... Мамке деда Савельева дали в помощники. Ходить он совсем устарел. Он погоду костями чувствует, говорит, когда пахать, когда сеять, когда картошку садить. Только ведь семян все равно нету...

Танкист втянул в себя утренний воздух, густой от росы и, не зная, что сказать мальчишке, как его приласкать, предложил:



— Давай искупнемся. Я тебя мылом вымою.

— Я не грязный. Мы из золы щелок делаем — тоже моет... А у тебя духовитое мыло?

- Нет. У меня мыло солдатское, серое. Оно лучше духовитого трет.

Мальчишка вздохнул и улыбнулся вроде.

— У духовитого цвет вкусный. Я раз целую печатку украл у одного тут, у немца. Еще не развернутую. Отворотил бумажку, лизнул даже — вдруг сладкое... Тамарка, бабушки Веры внучка, так она его сразу в рот. Маленька еще, глупая.

Танкист разделся, сунул ноги в холодный ручей.

— Снимай одежду, — приказал он. — В ручей не лезь. Вода еще не нагрелась от солнца. Я тебя поливать стану.

— Я не промерзну. Я привыкший.

Мальчишка скинул рубаху, штаны. Залез в ручей. Но танкист взял его на руки, высадил обратно на берег.

— Совсем в тебе, парень, весу нет. Ни жирины. Холодная вода, простудит тебя, такого, насквозь.

Он плеснул на мальчишку из пригоршни, зачерпнул воду вторично, да и вылил ее обратно в ручей: мальчишкин тощий живот был весь в подсыхающих волдырях.

Мальчишка опустил голову, глянул на танкиста с обидой.

— Ты не бойсь... Это не заразное. Это я картошкой живот опалил.

— Я не боюсь... — Танкист дохнул, будто кашлянул, будто хотелось ему очистить легкие после горького дыма, и принялся осторожно намыливать острые, ломкие на ощупь мальчишкины плечи.

— Уронил картошку?

— Зачем же ее ронять? Я пусторукий, что ли? Я картошку не выроню... Фронт еще вон где был, вон за той горой. Там деревня большая — Засекино. А в нашей было ихних обозов прорва: и автомобилей, и лошадей с телегами. А немцев самих! Дорога от немцев зеленая была — густо бежали... Вон, где сейчас танк прячется, два немца картошку варили на костерке. Их кто-то крикнул. Они отлучились. Я из котелка картошку за пазуху вывалил и пошел.

— Ты что, сдурел?! — крикнул танкист. — Картошка-то с пылу!

— А если она с маслом! От нее такой дух... Плесни мне в глаза, мыло твое шибко щиплет... — Мальчишка глядел на танкиста спокойно и терпеливо. — Я под кустом сидел, ждал: может, чего забудут или бросят чего... Я тогда почти всю деревню пешком — бежать нельзя. У них, как бежишь, — значит, украл. Они тоже не глупые.

Танкист мял в руках мыло.

— Все мыло зазря сомнешь. Давай я тебе спину натру. — Мальчишка наклонился, промыл глаза бегучей водой. — Я у немцев много чего покрал. Один раз даже апельсину украл. Только они поймали.

— Били?

— А как же. Меня много раз били... Я только харчи крал. Ребятишки маленькие: Маруська Варварихина, и Сережка Татьянин, и Николай, и Тамарка, бабушки Веры внучка. Они — как галчата, у них целый день рты открытые. А я над ними старший... Сейчас с ними дед Савельев сидит. Меня к другому делу приставили — курей пасу.

Мальчишка замолчал, устал натирать широкую танкистову спину. Закашлялся, а когда отошло, прошептал:

— Теперь я, наверно, помру.

— Ну, что ты мелешь! — рассердился танкист.

Мальчишка посмотрел на него, как на маленького.

— А харчей нету... И украсть не у кого. У своих красть не станешь... Нельзя у своих красть.

Танкист снова принялся мять и месить мыло крепкими пальцами. Он долго его мял, стараясь придумать подходящие к случаю слова. По молодости он еще не умел объяснять жизнь так, чтобы поверили.

— Вам коров гонят и хлеб везут, — наконец сказал он. — Фронт пройдет — и коровы и хлеб сюда поспеют.

— А если фронт здесь надолго станет?.. Дед Савельев говорит, лопуховый корень есть можно. Он говорит, сам питался в плену.

Танкист вытер мальчишку своим вафельным неподрубленным полотенцем. Танкисту опять стало весело, он что-то решил про себя и теперь радовался.

— Не людское дело лопух кушать, — говорил он, похлопывая мальчишку. — Не робей, мы вас из своего пайка поддержим.

Мальчишка покрутил головой.

— Не-е... Вам нельзя тощать. Вам воевать нужно. А мы как-нибудь. Дед Савельев говорит, что еще солодовая трава на болотах растет — лепешки из ней выпекать можно. Она пыхтит, будто с закваской... Вы только быстрее воюйте, чтобы те коровы и тот хлеб к нам успели.

— Мы постараемся, — сказал танкист.

На том они и расстались. Танкист отдал мальчишке обмылок, чтобы он вымыл свою команду: Маруську Варварихину, и Сережку Татьяниного, и Николая, и Тамарку, бабушки Веры внучку. Он звал мальчишку поесть щей из солдатской кухни. Мальчишка не пошел.

— Я при деле сейчас. Мне нельзя отлучаться.

Курицы паслись неподалеку, тягали червяков из влажной земли.

А через сутки пришел приказ: танкам идти в наступление — прорывать фронт. Когда танки выкатились из укрытий и дорога задрожала от их нетерпения, танкист снова увидел мальчишку. Мальчишка бежал вдоль колонны, прижимая к себе бесхвостого петуха.

— Эй! — кричал он. — На, возьми петуха! Только не позабудь чего обещал, побойчее старайся. А мы вытерпим. Нам ваш генерал хлеба выдал, и сала... и сахару-у...

Семен Ласкин

ЖУЖА



На улице была метель. Ветер гнал целые сугробы снега; погода больше напоминала ноябрь, чем март.

«Родная мать послала в такой мороз! — с горечью думал я, перебегая от одного дома к другому и простаивая по нескольку минут в каждой подворотне. — Еще бы! У любимого старшего сына неотложные дела на работе. Сегодня он решил спать на своем письменном столе — это определенно продвинет науку вперед!»

Я переложил увесистую сумку из одной руки в другую — правая совсем затекла — и еще раз с наслаждением выругал старшего брата.

«Во всех семьях главное лицо — младший, а у нас — старший. И где это видано, чтобы старший брат мог делать все, что ему в голову взбредет, а я, как негр на плантациях, должен слепо подчиняться».

Когда я подбежал к институту, то уже так взвинтил себя, что готов был все высказать Виктору. Только я решил действовать спокойно: раскрою сумку, извлеку бульон, сверху положу котлеты, рядом — яблоко и подожду, когда он начнет есть. И вот тогда выскажу, что означает эта варварская эксплуатация детского труда и насилие над личностью.

«Быть старшим, — холодно и язвительно скажу я, — это не значит пользоваться какими-то привилегиями. Скорее наоборот: как старший, ты должен помогать младшему».

Я представил удивленный взгляд брата, извиняющуюся улыбку, отодвинутый кусок хлеба — «не идет в горло!» — просьбу простить его.

«Ха! Ха! Ха!» — бросаю в лицо.

Оказывается, я в самом деле смеюсь: какой-то согнутый ветром прохожий испуганно шарахается в сторону. Наконец поднимаюсь на крыльцо.

В помещении тепло. Жалко, что здесь всегда пахнет животными, а так жить можно.

В коридоре в кожаном кресле сидит тетя Даша, ночной сторож. Она дремлет. Я тихо прохожу мимо, но она все-таки сообщает вдогонку:

— Виктор-то совсем заработался. Дня ему мало. Худой — смотреть жалко...

«Псих мой Виктор, — бурчу я под нос. — Кому нужна эта зоология? Тоже мне наука...»

Я-то знаю: настоящая наука — это физика. В ней мне нравится почти все. Но зоологию не только не считаю за науку, но даже демонстративно игнорирую. Запомню, что Варвара Сергеевна в классе объяснит, и достаточно. Дома не учу. Тройка так тройка. Было бы из-за чего страдать. Пусть Виктор запоминает, сколько позвонков у крокодила, — ему это подходит.

На первом этаже мертвая тишина, зато на втором — великолепный собачий концерт. Значит, Виктору не скучно. Он не один.

Я улыбаюсь: «Забавные люди... Они считают, что делают важное дело».

На третьем этаже такая темнота, что приходится шарить руками: можно удариться.

— Витя! — кричу я. — Посвети.

Витя не выходит. Тогда я останавливаюсь, привыкаю к темноте. Впереди видна полоска неяркого света. Я иду прямо на эту полоску и распахиваю дверь.

В комнате Виктор — тощий, бледный, с красными от усталости глазами. Мама рассказывала, что в детстве Виктора называли «профессор», потому что он рассуждал и объяснял даже там, где следовало драться.

— А, пришел... — говорит он.

Медленно идет ко мне, берет сумку двумя руками: дома наложили столько, что ему тяжело.

«Слабак!» — думаю я.

Если бы мне пришлось с ним бороться, даю слово, уже через пять минут он лежал бы на лопатках. За это я его не уважаю. Какой мужчина совсем не занимается спортом? Вот Светлана, моя двоюродная сестра, толкает ядро, хотя девушка. А Виктор, в свои двадцать четыре года, считает достижением пройти пешком полторы трамвайных остановки от дома до института.

— Ваша мамочка, Виктор Михайлович, послали вам кушать. Извольте отпробовать! — ору я неожиданно, чувствуя, как распирает меня

возмущение. — Вам так некогда, что я должен бегать с бульоном через весь город.

— Тише, — шипит Виктор и берет меня за плечо. — Здесь больные.

— Какие еще больные?

Он поворачивается и показывает в сторону. В трех шагах лежит большущая обезьяна, наверное орангутанг или какой-нибудь гиббон, и смотрит на меня грустно-грустно, устало-устало. Лицо у обезьяны умное, все понимающее. Это меня очень смущает.

— Значит, вы сиделка? — пытаюсь острить я. — Джунгли, Виктор Михайлович, вам этого не забудут.

— Молчи, — зло приказывает Виктор.

Он вынимает из сумки бульон, отливает немного в миску и подогревает на плитке. Потом вздыхает и идет к обезьяне.

«Так вот из-за кого я бежал в пургу!»

Конечно же, мне было любопытно посмотреть на нее, даже погладить, но я не шелохнулся.

Виктор с трудом влил ей в рот несколько ложек бульона, отошел и уселся неподвижно, охватив голову руками. Я тоже присел, но только поближе к обезьяне. Она взглянула на меня, пошевелила губами, точно хотела объяснить свою болезнь. Я на всякий случай улыбнулся ей; мол, не обижайся, дружище, я злюсь не на тебя, а на своего брата. Обезьяна глубоко вздохнула и уронила голову.

— Тяжело больна? — мне стало по-настоящему жалко ее.

Виктор кивнул.

— Поправится, — я попытался утешить его. — Теперь медицина почти передовая наука.

— Уже неделю, Юрка, мы ничего не можем поделать. Она похудела на несколько килограммов и очень осунулась. На ней лица нет.

Голос у Виктора дрогнул — он вел себя не по-мужски.

— Нельзя так распускаться, — сказал я как можно спокойнее. — Обезьяна — не человек.

— Да, — сказал Виктор, — не человек. Но это удивительная обезьяна. Из-за нее прекрасный человек не пожалел жизни.

— Погиб из-за обезьяны?

Виктор поднялся — слышал ли он мой вопрос, сказать было трудно, — очистил яблоко, отрезал ломтик и протянул шимпанзе.

— Поешь, поешь, — повторял он. — Если обезьяна не берет одно, нужно предлагать другое.

Наконец обезьяна взяла яблоко. Виктор засмеялся и гордо посмотрел на меня.

— Умнейшая шимпанзе! ...На нее в годовалом возрасте обратил внимание профессор Залесский. Вот... — Он показал на небольшой портрет, висевший на стене. Бритый наголо человек держал на руках маленькую обезьянку. — Сфотографированы перед войной. А в сентябре



сорок первого Залесский успел вынести Жужу из Зоопарка за минуту до разрыва бомбы.

— И погиб? — со страхом спросил я.

— Нет, — сказал Виктор, — до декабря он продолжал исследования дома... «Предыстория сознания человека».

— Так это же тема твоей диссертации!

— Да,— подтвердил Виктор,— и моей. То, что сделал Залесский, было началом.

Он погладил Жужу. Она перестала стонать и сама погладила руку Виктора. Наверное, Жужа знала, что брат расстроен.

— Страдает, — вздохнул он.

Я подошел к Жуже и осторожно дотронулся до нее. Обезьяна подняла голову, сощурилась и смотрела на меня до тех пор, пока я не опустил руку.

— Хочешь ее покормить? — неожиданно предложил Виктор.

— Давай, — обрадовался я.

— Это мой брат, — объяснил Виктор Жуже и в подтверждение обнял меня. Потом передал ломтик яблока. — Корми.

Жужа еще раз взглянула на Виктора и взяла.

«Может, зоология и не такая плохая наука», — подумал я.

— Как же погиб профессор, Витя?

Теперь я разговаривал шепотом.

— В блокаду, — наконец сказал он. — Залесский отдавал ей почти весь свой паек. Чтобы согреть ее, жег мебель, а позже — книги. Жуже очень нравилось смотреть, как горит бумага.

Виктор говорил так, будто все это случилось при нем.

— Умер Залесский от истощения... в вестибюле института.

Он замолчал.

И вдруг мне стало обидно. Неужели раньше нельзя было рассказать своему брату, чем занимаешься и чью работу продолжаешь? Однако сейчас не время ссориться.

— Понимаешь, Юрка, — сказал Виктор просто, по-людски, без обычного превосходства, — это будет большая потеря для института. Ведь опыты еще не закончены.

— Но ее же лечат, — сказал я.

— Лечат, — подтвердил Виктор. — Каждое утро Жужу смотрит ветеринарный врач... — Он показал глазами на разложенные таблетки, бутылочку с микстурой. — Но сегодня вечером ей стало совсем плохо. Совсем... — Он беспомощно развел руками. — Сейчас ее нельзя оставить даже на минуту...

В этот момент Жужа посмотрела на меня так, словно была уверена, что не Виктор, а я должен ее спасти. «Нужно помогать», — решил я. Не зря же говорила мама, что хотя Витька и умный парень, и на работе его ценят, но слишком уж застенчив и не уверен в себе. «Если бы Викто-

ру энергию Юрки, — говорила она, — он бы стал профессором, а если бы Юрке усидчивость Виктора, то даже по зоологии он учился бы на пятерки». Я был человеком действия, и если уж принимал решения, то сразу выполнял их, а не сидел сложа руки, как это делает мой ученый братец.

— А ну, давай адрес, — небрежно сказал я. — Через час здесь будет ветеринар.

Виктор посмотрел на меня с сомнением.

— Только, Юра, пожалуйста, без резкостей. Это человек сложный... И время-то не служебное...

— «Не служебное», — передразнил я Витькиным голосом. — Но если страдает Жужа?

Я дошел до дверей и улыбнулся брату.

— Будь спокоен. С настоящим мужчиной я легко найду общий язык.

До ветеринарного врача нужно было проехать четыре остановки, а потом немного пройти пешком — так объяснил Виктор.

То ли трамвай шел медленно, то ли так казалось, но я начал думать, что путешествию не будет конца. Я вскакивал с места и смотрел в окно: не прозевать бы.

История с Залесским не выходила у меня из головы. Каким же нужно быть человеком, чтобы спасать обезьяну во время бомбежки, делить с ней последние крохи хлеба в блокаду!

Я вспомнил фотокарточку Залесского: лысый, большеголовый, с доброй улыбкой. Даже странно, что так просто может выглядеть герой.

Дом ветеринара оказался рядом с остановкой.

«Почему Виктор велел мне быть вежливым? — думал я, поднимаясь на пятый этаж. — Скажу ему прямо о Жуже — и все...»

Однако я волновался. Около двери я даже сбил снег с ботинок — для бюрократа такие мелочи могут иметь решающее значение — и нажал на кнопку звонка.

Дверь распахнули, и какой-то толстяк в халате и тапочках на босу ногу оказался передо мной.

— Ветеринарный врач здесь живет?

— Я и есть ветеринарный, — добродушно улыбнулся человек.

Мне стало немного легче: с таким разговаривать нетрудно.

— Мой брат, Виктор Копылов...

На лицо ветеринара набежало облачко, точно он не сразу вспомнил, о ком я говорю, но почти тут же всплеснул руками.

— Брат Виктора Михайловича! — его улыбка росла. Чувствовалось, Витьку он уважает. — Дорогой гость, прошу в комнату!

Я не стал возражать.

В комнате было светло, чисто. На диване подушечки. На столе электрический самовар и всякая еда, кажется, пирожные.

Напротив сидели двое: мальчишка — точная копия ветеринара, только чуточку потоньше — и девчонка, в общем, ничего, обычная девчонка, не хуже других.

— Здравствуйте! — сказал я ради Витьки.

Мальчишка чуть заметно опустил голову — получилось вроде «мое почтение», а девчонка засмеялась, по каким-то своим соображениям, и уткнулась в чай: мол, я для нее нуль без палочки — и все.

— Доктор! — быстро заговорил я. — Жуже к вечеру стало очень плохо.

— Ужасно! — перебил ветеринар и, придерживая халат, прошелся по комнате. — Да! — спохватился он. — Что же ты стоишь в дверях? Раздевайся. Будем чай пить.

— Что вы? — опешил я. — Виктор ждет... Да и не хочу.

— Хороший я был бы хозяин, если бы не напоил тебя чаем, — сказал ветеринар и сам расстегнул мне пальто. — Согрейся, отдохни, а уж тогда о делах...

Я лихорадочно решал: как быть? Такого «приема» не ожидал даже Виктор.

Мальчишка торопливо доел пирожное и положил на тарелку новое.

«Буржуй, — подумал я и обреченно вздохнул: — Витька ждет, а я буду распивать тут...»

Мне даже показалось, что я слышу стон Жужи, вижу ее умные глаза. Она укоризненно на меня смотрит и будто бы говорит: «Так тебя посылать за помощью?»

Комок подкатил к горлу и сдавил так, что я не то что пирожные, а чай и то проглотить не мог.

— Папа! — неожиданно сказала девочка. — Он действительно не хочет. А тебя там ждут!

Ветеринар только посмотрел на нее, и девчонка вышла из комнаты.

— Не думал, что мои дети такие невежливые, — пробормотал он. — Какое тебе пирожное? Эклер? Трубочку с кремом?

— Все равно.

Я повесил пальто в коридоре, послушно сел за стол и залпом выпил стакан чаю.

— Ну вот, — успокоился ветеринар. — Теперь за дело.

В этот момент я готов был простить ему все. В конце концов, что плохого, если он напоил меня чаем?

Я набросил пальто, застегнулся и вбежал в комнату. Ветеринар все еще сидел в халате.

— Возьми, — протянул он мне маленькую бумажку. — Это записка Виктору Михайловичу. Жуже нужно прибавить еще ложку микстуры.

— А вы... вы не пойдете?..

Мальчишка захихикал, но я даже не взглянул в его сторону.

— Я делаю все, чтобы ее спасти, мальчик! — сказал ветеринар.

— Слушайте, — догадался я, — вы, наверное, забыли. Жужа — это та обезьяна, которую спас Залесский. Опыты еще не окончены. Он погиб из-за нее...

Ветеринар поморщился.

— Я осматриваю животных по утрам. И осматриваю тщательно. Нельзя требовать от людей, чтобы они жили на работе...

Халат расстегнулся, и теперь он наступал на меня своим толстым животом.

«Вот куда бы ударить!»

У меня даже закружилась голова от такого желания.

Я пятился, пока не понял, что стою на лестнице и передо мной закрывается дверь.

— Но есть же еще ветеринар? — закричал я.

— Конечно, — так же спокойно сказал толстяк. — Главный врач ветслужбы Приворотский.

Дверь захлопнулась. Я был уверен, что он сейчас улыбался.

До первого этажа я спускался медленно. Садился на подоконники, думал. Как же так — в одном институте работают Виктор и этот человек? Если бы жил Залесский, разве он стал терпеть такого ветеринара? А может быть, я плохо рассказал о войне? Может, он не понимает, что исследования очень нужны людям?

И тут у меня возникла страшная и очень вероятная мысль...

А если ветеринар заинтересован в смерти Жужи? Ведь на ней изучают предысторию сознания человека, а у ветеринара как раз сознания не хватает. Вот он и решил это скрыть.

Я бросился на улицу. Девушка в телефонной справочной переспросила фамилию. Я даже вспотел, пока она искала.

— Адрес?

«Адрес... — испуганно думал я. — Откуда я могу взять адрес?»

— Алё? — нетерпеливо повторила девушка. — Что вы молчите? Скажите имя, отчество Приворотского!

Я ничего не знал. Нас разъединили.

Несколько минут я простоял в будке, не решаясь позвонить вновь.

— Справочная, — сказал другой голос.

— Мне очень нужен телефон...

Теперь я решил объяснить им все.

— Живет на Киевской?

— Да, — обрадовался я.

— И-шесть-ноль-шесть-семьдесят семь.

Я сразу набрал номер. Гудки были длинные, никто не подходил.

«А если это не тот?»

— Алё, — неожиданно сказала трубка.

— Главного врача! — закричал я. — Ветеринарного.

От волнения я забыл его фамилию.

— Слушаю, — сказали в трубке.

— Товарищ начальник, — быстро заговорил я, — может, вы знаете Виктора Копылова? Моего брата. Научного сотрудника.

— Копылова? — недовольно переспросил главный. — Знаю. Что из этого?

— У него умирает обезьяна. Жужа. Вы ее должны знать. Та, которую спасал Залесский. В блокаду.

— Черт знает что! — выругался главный. — Это наглость.

Я почувствовал: все гибнет, и мне больше нечего ему сказать.

— Но Залесский!.. Он вынес ее из-под бомбежки... Жег рукописи в холода...

Я что-то бормотал еще, плохо, многословно, злился на себя, пока не понял: меня не слушают.

— Алё! — крикнул я. — Алё! — вышел из будки и остановился, не зная, что делать дальше.

Метель на улице стала еще сильнее. Ветер не давал идти. Но я не чувствовал холода. Я думал о Жуже... Вот она поднимает голову, щурится, смотрит на меня. Я был уверен, что не сумею вынести ее взгляда.

Потом опять вспомнился Залесский. Рвутся бомбы в Зоосаду. Горит обезьяний вольер. Дико кричат звери. А он, этот профессор, идет через сад с маленькой обезьяной на руках. Потом зима сорок первого. Топится печка-буржуйка, горят рукописи...

Около института стояла «Волга». Я прошел мимо нее. В кабине покуривал шофер. Ему было тепло и уютно. Даже обидно стало: покуривает в такой тяжелый момент.

Я поднялся на крыльцо, но дверь открывать не стал. Привалился спиной к косяку. Стою. Представляю себе, будто бы ничего плохого не случилось, а все наоборот... Ветеринар, как пожарник, сразу бросился одеваться. Я ему ботинки шнурую, он ушанку у подбородка завязывает да на ходу приказы отдает: «Позвони Приворотскому. Один ум хорошо, два — лучше».

Тот сразу в машину.

«Гони, — говорит водителю, — не покуривай. Жуже плохо».

Автомобиль весь трясется – на спидометре сто километров.

«Вот это люди!» — думаю, а самому впору зареветь.

Открываю дверь – сейчас она еще тяжелее кажется – и слышу, кому-то кричат:

— Мальчик!

Поворачиваюсь. Шофер из «Волги» опустил стекло и мне рукой машет.

— Ты в институт? Сделай любезность...

«Нет уж, — думаю, — сегодня от меня любезностей не ждите. Баста!»

— Я тут главного ветеринарного врача привез, так не можешь ли ему передать, что машина на полчаса ушла на бензоколонку. Заправиться.

А я все не отвечаю. Стою, глазами моргаю, а в голове такое творится...

— Что же, — спрашиваю, — главный ночью работать приехал?

— Да, — говорит. — У самого грипп, а из-за какой-то обезьяны...

А мне так хорошо стало, что у главного грипп, а он все-таки прикатил.

— Прекрасно, что грипп.

Шофера как завели.

— На черта похож стал! Дня ему мало!

Я даже охнул: почти то же говорила о Витьке тетя Даша.

— Заправляйтесь, — говорю, — я сейчас же ему передам.

Взялся снова за ручку двери, тяну ее, а у самого такое новое ощущение: будто бы пожимает мне руку Залесский, улыбается со значением, мол, и вы, Юрий Михайлович, неплохо потрудились — продолжаете начатое дело.

Я улыбаюсь. И чувствую, хочется мне узнать самое важное. Повернулся к шоферу и кричу:

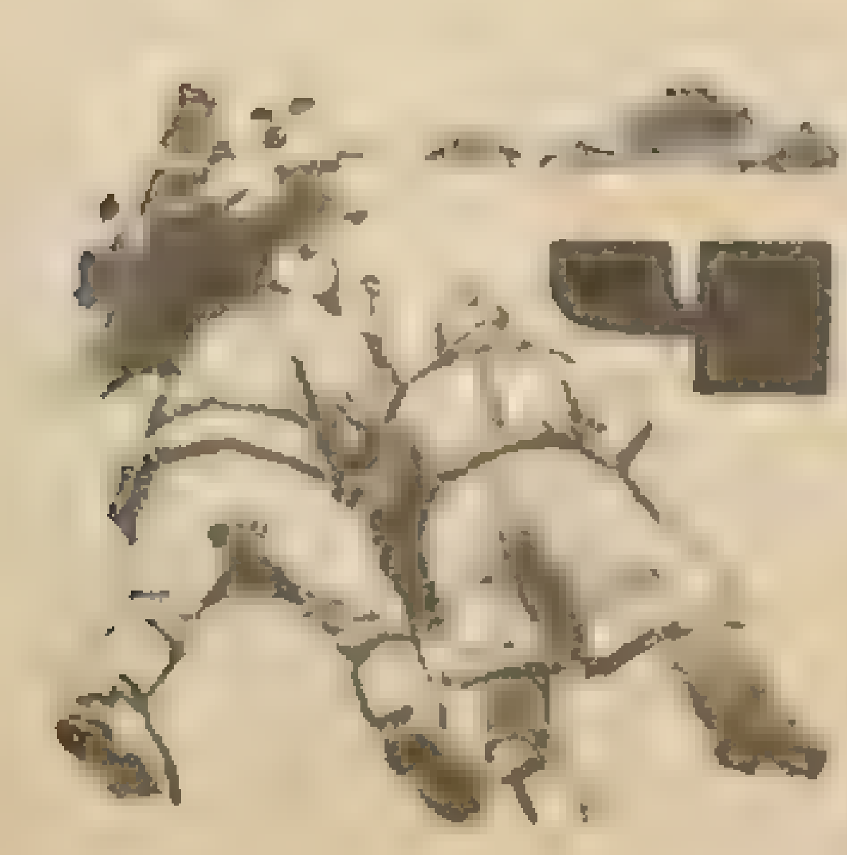
— А ваш-то, главный, обезьяну спасет?

Шофер затянулся дымом, выпустил его вверх и, пожав плечами, сказал:

— Даже не сомневаюсь.

В. Вахман

ВАЛЕРИК



Что вы видите, старшина?

— Значит, так: вижу сарай, кустарник, дом, на заставе часовой кошку гладит, кошка на заборе выгибается перед ним и так, и этак. Балованная, видно. Наблюдаем дальше... Женщина с ведром на крыльцо вышла. Часовой кошку бросил, с женщиной заговаривает. Ушла, не стала с немцем общаться.

— Еще что видите?

— Под маскировочной сетью движения не обнаружено. Солдаты по улице идут с котелками. Грузовик выдвинулся из-за сарая, где колодец. Шофер слез, поднял капот, возится в моторе. Теперь эта копна, товарищ лейтенант. Подозрительная копна.

— Хорошо, старшина. Теперь я буду наблюдать, а вы отдыхайте.

Лейтенант Галкин поднес к глазам бинокль. Серая стена избы на окраине села, пыльная зелень, крыльцо, часовой — все словно прыгнуло к нему. Можно было разглядеть занавески на окнах, табуретку на крыльце и даже вырезанное на ставне сердечко. Часовой у забора снял каску, вытер ее изнутри, снова напялил. По улице лениво брели немецкие солдаты. Шофер все еще возился в моторе грузовика. Все сонно, безмятежно, мирно. Всех разморила жара, и казалось, никто не думает о войне.

Вдруг лейтенант заметил, что копна сена, вызывавшая подозрение у старшины, как-то странно дрогнула, осела с одного бока, горбом выпятилась с другого.

— Вы правы, Дымов, — озабоченно сказал лейтенант. — Под этой

липовой копной у них зенитка или крупнокалиберная пулеметная установка.

— А возле самой заставы, под маскировочными сетями, наверно, минометы, — подхватил старшина Дымов. — Точных данных, конечно, нет. Однако, пожалуй, что так. Да, понатыкали фрицы вокруг села огневых точек — будь здоров! Интересно, что у них в этом селе?

— Огневых точек — будь здоров! Точно! — согласился лейтенант.

Разведгруппа, которой командовал лейтенант, получила задание вчера вечером. Капитан в штабе дивизии поставил на карте у точки с названием деревни жирный вопросительный знак. Затем, сунув карандаш за ухо, повернулся к Галкину.

— Ну, «глаза и уши дивизии», что скажешь? Каковы твои соображения относительно этого населенного пункта?

Галкин густо покраснел. В разведчиках он числился меньше недели, линию фронта переходил только раз, и поэтому пышный титул «глаза и уши дивизии» смутил его. Вот недавно погибший старший лейтенант Бусько — тот был разведчик, как говорят, милостью божьей. Ему, Галкину, далеко до него. Шутка ли — командовать дивизионной разведкой, это тебе не взвод! Было бы кого назначить поопытнее, назначили бы. Да, видно, некого: дивизия понесла недавно большие потери.

— Смена часовых, — прервал размышления лейтенанта старшина.

Галкина словно обдало кипятком. Выходит, старшина не очень-то полагается на своего начальника. Сейчас очередь вести наблюдения его, Галкина, а старшина замечает то, что Галкин, задумавшись, не приметил, и уже второй раз подсказывает ему.

— Вижу... — буркнул лейтенант. — Смена часовых не имеет значения. А вот та маскировочная сеть... вам не кажется, старшина, что сеть шевелится?

— Определенно, — подтвердил старшина. — Все время шевелится. Ветерок под нее поддувает. Ветер-то с той стороны.

Лейтенант опустил бинокль, потер глаза. Зрение-то у него хорошее, только устал очень. Иногда от усталости паутинки какие-то перед глазами плавают и в голове шум. Вот и сейчас не поймешь: то ли в ушах шумит, то ли где-то далеко рокочет мотор.

— Как будто тарахтит... — неуверенно сказал он.

— Пока не слышу... Стоп! Вроде как действительно... Верно! Верно, товарищ лейтенант! Это патруль на дороге.

Оба, стараясь не шевельнуть ветки ольшаника вдоль шоссе, тихо отползли назад, спрятались в плоскую выемку, прижались к земле.

Рокот мотора приближался. По шоссе не торопясь проехал мотоцикл с коляской. Два немца в шлемах сидели на седлах. А сколько в коляске, Галкин не приметил. Хорошо был виден только задний стрелок, тот, что стоял на специальной площадочке за коляской, как стояли в старину выездные лакеи на запятках кареты.

У заставы на окраине села стрелки соскочили на землю, отвели машину во двор. А через несколько минут с того же двора выехал другой мотоцикл с немцами, быстро промчался мимо притаившихся разведчиков, волоча за собой длинный шлейф пыли.

— Ну, теперь можно объявить небольшой антракт, — сказал Галкин. — По-моему, эти фрицы, поскольку они только что заступили, будут катить до самой развилки. Весь участок осмотрят.

Рокот мотоциклетного мотора неожиданно оборвался, завизжали тормоза. Оба разведчика осторожно приподнялись на локтях, замерли. Сначала увидели медленно оседавшую пыль, потом мотоцикл. Он остановился метров за полтораста от них. Один из солдат слез, прошел вперед и заговорил с какой-то старухой. Старуха, поставив на землю молочный бидон, порылась за пазухой, достала какую-то бумажонку, показала немцу. Солдат долго читал ее, затем вернул, взгромоздился на багажник, и мотоцикл, взревев, рванулся вперед.

— Так... — сказал Галкин. — Эту старушку надо расспросить, она, наверно, сможет нам кое-что порассказать.

По мере того как старуха приближалась к месту, где залегли разведчики, оба — и лейтенант, и старшина — медленно, по-пластунски, переползли вперед, ближе к дороге. Когда старуха поравнялась с ними, лейтенант тихо сказал:

— Бабушка... Бабушка, подите сюда. Надо с вами поговорить. Не пугайтесь, мы свои. Русские.

Старуха как-то странно дернулась и ускорила шаги.

— Эй, бабка! — строго прикрикнул старшина. — Кому сказано?! Поди сюда, не бойсь, не обидим.

— Садитесь на край канавы и сделайте вид, будто песок из туфель вытряхиваете, — подсказал лейтенант.

Старуха недоверчиво покосилась на кусты, неохотно подошла, поставила бидон, села, стащила с ноги рваную сандалию.

— Вытряхивайте песок!

Старуха ожесточенно тряхнула сандалию.

— Вот так. Бабушка, вы местная? Из этого села?

Старуха не торопясь надела сандалию, начала снимать другую.

— Что ж вы не отвечаете?

Старуха оглянулась на дорогу, тихо сказала:

— Та, та... стешняя... живу стесь, село Тури.

— Как? — удивился старшина.

— Это старое название села, — объяснил лейтенант. — На карте в скобках помечено: «Тури». Много у вас немцев?

— Мноко, мноко... — закивала старуха, — ошень мноко.

— Бабушка, не кивайте головой, — попросил старшина. — Вы этим нас демаскируете.

— Шего? — не поняла старуха.



— Ну как — много немцев? — пытался уточнить лейтенант. — Сколько у вас в селе домов? И сколько примерно немцев в каждом доме?

— Не снаю... не считала... мноко... Я не фоенный...

«Эх, не умею я вести опрос населения! — досадливо подумал лейтенант. — Это только по книжечкам легко выходит, по военным рассказикам — там население все нужные данные как на блюдечке подносит...»

— Бабка, — снова взял инициативу в свои руки старшина, — ты мне вот что скажи: грузовиков много в деревне стоит?

— Мноко... — как попугай ответила старуха.

«Что ни спроси, — то «мноко», то «не снаю». Вот и толкуй с ней!» — лейтенант разозлился.

— Вы что, не русская? Почему так говорите? Финка, что ли?

— Мы ингерманланд! — ответила старуха и поджала губы.

— Кто? — переспросил старшина. — Это что за нация?

— Ингерманланд! — повторила старуха, вставая. — То свитанья... Некогта говорить. Идти надо.

— До свиданья... — ответил лейтенант с досадой.

— Пошел фон, турак! — вдруг закричала старуха. — Кому гофорят — пошел!

У старшины заходили желваки на скулах, он сжал тяжелый кулак, сказал сквозь зубы:

— Сбрендила бабка...

— Лукс, пошел!

— Хау, хау!.. — раздался в ответ собачий лай. — Хау-хау-хау!

Лейтенант вытянул шею, осторожно выглянул из-за куста. За старухой семенила собака, видимо прибежавшая из села встречать хозяйку. Пес был крупный, гладкошерстный, непонятной породы, с крючковатым хвостом и болтающимися, располосованными в драках ушами.

— Вот ты черт, какая неудачная бабка попалась! Да еще и с собакой! — ворчал старшина. — Толку с этой бабки как с козла молока. Врет она, что местная, определенно немцы переселили откуда-нибудь. Раньше здесь никакие германланды не проживали, я тут не раз бывал. Чухны — это да! Жили нормальные чухонцы.

— Так это ж они и есть! Когда-то, еще при Петре Первом, эти места назывались Ингрия, или Ингерманландия. Потом их стали называть чухонцами. А теперь немцы обратно повернули, величают ингерманландцами, к германцам вроде поближе, — объяснил лейтенант. — По дешевке хотят купить!

Старуха все ускоряла и ускоряла шаг. Собака трусцой бежала за ней, будто нехотя. Присаживалась, ожесточенно чесалась и все беспокойно оглядывалась назад. Потом опять догоняла хозяйку.

— Вот паршивый пес! — забеспокоился старшина. — Как бы немцев на нас не навел. Давайте отходить к нашим.

— Да, пожалуй, — согласился лейтенант. — Надо пробираться в лес. Вообще незачем оставаться там, где старуха нас видела.

Разведчики осторожно приподнялись. И тут... то ли собака что-то услышала, то ли решила, что не до конца исполнила свой собачий долг, только, бросив хозяйку, помчалась назад. Добежав до кустов, она принялась яростно их облаивать.

Лейтенант осторожно высвободил из ножен финский нож.

— Лукс! Лукс! — закричала старуха. — Лукс, кому кофорят!

Пес скосил глаза на хозяйку, гавкнул в последний раз, расшвыряв задними лапами гравий на шоссе, так же неожиданно повернулся и побежал догонять старуху.

Галкин увидел, что часовой на заставе забеспокоился. Вытянув шею, напряженно смотрел в их сторону.

Подошла старуха.

Он заговорил с ней, очевидно, расспрашивал, показывая рукой по направлению к кустам.

Разведчики быстро уходили. Сначала ползком, затем привстав, но низко пригибаясь, прячась за каждым деревом и кустом.

— Вот чертова коза старая! — ругался старшина. — Злющая, бестолковая! Да еще собака с ней!

Лейтенант не отвечал, сердился на себя. Вот уж действительно блин комом! Вот тебе и контакт с населением! Зря остановили первую встречную. Но как же тогда поступать?..

Вдруг со стороны села ударила пулеметная очередь, воздух словно прошило дымными нитями, дождем посыпались подсеченные листья.

— Трассирующими шпарят! — крикнул старшина.

«Только бы Ющенко не всполошился, не кинулся с остальными нам на выручку...» — подумал лейтенант, и в это мгновенье услышал, как над головой противно забормотало: «бу-бу-бу».

Мина!

Сильный взрыв тряхнул, разметал землю. Все кругом трещало, валилось, падало. Били по спине и по плечам комья земли.

— Побежали! — лейтенант вскочил. — Старшина, где вы?!

— Здесь! — голос старшины звучал глухо и как-то непривычно встревоженно.

— Ну, давайте! Теперь уж прятаться нечего... от мины не спрячешься!

— Сейчас!.. Ох! Нет... не могу... Бегите, товарищ лейтенант, один!..

Галкин кинулся к Дымову.

— Куда попало?

— Да вот... вот... — старшина водил рукой по груди и животу.

Лейтенант с ужасом увидел, что гимнастерка на животе Дымова намокает кровью. Он вытащил из сумки индивидуальный пакет и при-

нялся быстро перевязывать старшину, стараясь стянуть потуже бинт, унять кровь. Старшина кряхтел, сквозь зубы ругался:

— Гадина! Гадина!

Это могло одинаково относиться и к собаке, и к мине, настигшей его. А может, к старухе.

На шоссе затарахтели моторы, оттуда резанула автоматная очередь. Еще одна, еще, еще... подъехали мотоциклы, патрулировавшие на дороге. Пока били из автоматов, лейтенант и старшина лежали, стараясь вжаться в землю.

«Не идут в лес, трусят... — мелькало в голове у лейтенанта. — Сто метров от дороги для немцев предел, дальше не смеют... Что делать со старшиной? Как его вынести?.. Только бы до леса, там наши помогут...»

Стрельба с шоссе прекратилась. Потом снова зарычал мотор.

— Надо уходить, — сказал лейтенант, приподнимаясь. — Чего доброго, нагонят солдатни лес прочесывать. Пойдем, старшина!

Галкин торопливо мастерил лямки из поясных ремней.

— Все равно мне конец... — неожиданно сказал старшина. — Уходите, товарищ лейтенант...

Галкин, не отвечая, подлез под Дымова, натужился и, согнувшись почти пополам, понес.

У самой опушки леса из-за кустов поднялись двое разведчиков.

— Ребята... — задыхаясь, сказал лейтенант.

Разведчики молча подхватили раненого, быстро пошли вперед. Лейтенант едва поспевал за ними, его шатало. В лесу к ним стали присоединяться остальные: они появлялись, как призраки, — из-за пенька, из-за кочки, выходили из-за толстого ствола дерева. Лейтенант сосчитал: восемь... старшина да он... десять... Все налицо. Теперь скорей в глубь леса, к болоту!

Болото было надежным укрытием, здесь группа могла отсидеться. Галкин опустился на землю возле Дымова, лежавшего в забытьи, взял его вялую руку в свою.

Теперь, когда немцы всполошились, вынести раненого, перетащить его через линию фронта — невыполнимая задача. А с чем вернуться? Проплутали трое суток, лишились одного бойца и ничего не разведали. Лейтенант не боялся ответственности, он боялся своей неопытности. И сейчас, сидя возле тяжелораненого, он мучительно старался найти то единственное решение, которое будет правильным.

Дымов очнулся, с трудом разлепил глаза, шевельнул губами.

— Ну как, Семен Иванович? Как себя чувствуешь? — нагнулся к нему Галкин.

— Пить... — прошептал Дымов.

Лейтенант до крови закусил губу, судорожно вздохнул.

— Эх, нельзя тебе пить... потерпи... Хочешь, смочу губы?

Он налил из фляги несколько капель воды на платок, приложил к губам старшины.

«И платок-то грязный, — тоскливо подумал Галкин, — и марли больше нет, всю израсходовали. . .»

Старшина помял губами платок, оттолкнул его подбородком. Галкин видел, он хочет что-то сказать, приблизился к самому лицу.

— Товарищ лейтенант. . . — шептал старшина. — Линию фронта со мной не перейти. . .

— Ну что ты! Перейдем! — убежденно сказал Галкин. — Языков-то берем? Почему упирающегося немца можем переволочь, а своего не пронесем?

— Нет. . . — сказал Дымов, — мне жить осталось немного. . . зря товарищей измотаю. . .

— Да брось ты, старшина! Кто тебя оставит? — сказал Сизов, тот самый разведчик, который встретил их у опушки.

— Говорить трудно. . . — Дымов едва шевелил губами. — Погубите группу — и только. . . Дайте пистолет с одним патроном.

— Вынесем. . . — начал было снова Сизов, но замолчал.

Глаза Дымова смотрели на лейтенанта отчужденно, холодно, как будто осуждающе. «Не дело, товарищ лейтенант, — казалось, говорил его взгляд, — я все правильно рассудил. . .»

Лейтенант отрицательно качнул головой, и старшина устало прикрыл глаза.

Он снова впал в забытье.

Лейтенант сидел над ним всю ночь и только под утро незаметно забылся коротким, трудным сном, будто провалился в зыбкую черноту. Вздрогнул, проснулся, взглянул на раненого. Глаза старшины были открыты, он смотрел все тем же странным, отчужденным взглядом. Смотрел долго, ни разу не моргнув. У Галкина первый раз в жизни сжало сердце от мучительной, новой для него тоски.

— Дымов! — позвал он тихо. — Семен, дорогой, ты меня слышишь? — Он взял руку старшины. Она была тяжелая, неживая. Уже остывала.

Долго разведгруппа кружила вокруг села. И, в сущности, они знали так же мало, как в первый день.

— Придется уходить, — решил Галкин. — Дольше задерживаться нельзя. Отдохнем немного, ночью уйдем.

Отдыхать расположились в топкой низинке, густо заросшей папоротниками, кустами. Место было неприглядное, глухое. Усталые люди повалились на сырую, холодную землю, сразу заснули.

Галкин лежал на влажном ватнике, испытывая блаженное чувство отрешенности и полного покоя. Вдруг где-то совсем рядом хрустнула

ветка, послышались чьи-то быстрые, легкие шаги. Кто-то шепотом сказал:

— Товарищи!.. Товарищи красноармейцы!

Галкин рывком отстегнул клапан кобуры, вцепился в шершавую рукоять пистолета, вгляделся и разжал пальцы. Из папоротника высунулась вихрастая мальчишеская голова. С усыпанного веснушками загорелого лица вопросительно и тревожно смотрели светлые глаза.

— Ты откуда взялся? — шепотом спросил лейтенант.

- А я с другой стороны полз, — тоже шепотом ответил мальчик. — Ваш часовой меня не заметил.

Вероятно, в глазах лейтенанта мелькнула смешинка. Мальчик оглянулся и вдруг смущенно прикрыл рот ладошкой. Часовой был рядом. Стоял, подавшись вперед, настороженный, прямо за спиной мальчика. Лейтенант махнул ему рукой. Мальчик вылез из зарослей папоротника, подошел, опустился на корточки рядом с лейтенантом.

— Я вас целый день ищу. Всюду облазил, даже на болоте был.

Галкин вздрогнул.

— Откуда ты узнал, что мы здесь?

Мальчишка лукаво прищурился.

— Да вы же с моей бабушкой разговаривали там, на шоссе!

Лейтенант почувствовал, как у него сразу взмокла спина, между лопатками потекла вниз струйка пота. Он незаметно толкнул ногой спавшего рядом Ющенко. Со вчерашнего дня Ющенко был его заместителем, вместо погибшего старшины.

Ющенко проснулся, открыл глаза, но не шевельнулся.

«Выучка Бусько! — с завистью подумал Галкин. — Вот был разведчик!»

— Так это твоя бабушка? — спросил он мальчика. — Как ее зовут?

— Бабушку? Матильда... Матильда Яновна Худолайнен. А я Валерик.

Ющенко потянулся, зевнул, приподнялся на локте.

— Эге! У нас, оказывается, гости! — сказал он весело.

— Это Валерик, — представил мальчика Галкин, — а бабушка у него та ингерманландка, с которой мы вчера встретились на дороге.

— Ах, та!.. — протянул Ющенко. — Ингерманландка. Ты, значит, тоже ингерманландец?

Мальчик удивленно и встревоженно посмотрел на одного и другого. Выражение лица у него было такое, словно он силился понять, шутят с ним, или это всерьез?

— Нет, я русский, — растерянно сказал он. — Ингерманландцами нас стали немцы называть... а раньше... в школе, если мальчишки начнут дразнить чухнами: «Чухны моченые, в щелоке вареные» — ух, что было! За это дрались, а потом прорабатывали...

— Прорабатывали, говоришь? — рассмеялся Ющенко.

— Ну да! Разве можно дразниться нациями! — воскликнул Валерик. — У нас же нации одинаковые. Равноправные! Мы учили по конституции! Это фашисты делят: одни ингерманландцы, другие славяне; ингерманландцы лучше, славяне хуже... Бабушка старая, прежнего режима, она обрадовалась. А мама мне сразу сказала: «Ты не поддавайся, это бабушка так, не спорь с ней».

— А отец твой где? — поинтересовался Галкин.

Мальчик вздохнул.

— Не знаю... Уехал в Ленинград призываться. Ему бронь давали, а он не хотел. Он электрик, а раньше моряком был. Подготовил вместо себя Варю Кесконен и уехал. А тут немцы пришли. Может, написал, да не дошло письмо. Мама беспокоится.

— Воюет твой отец, ясное дело, — решил Ющенко.

Мальчик снова вздохнул.

— А бабушка немцам говорит, что папа арестован, потому что у него нерусская фамилия. Бабушка к немцам подлизывается, нарочно на папу наговаривает.

— Что же у тебя бабка такая плохая? — притворно удивился Ющенко.

— Она не плохая, она отсталая, — уверенно возразил Валерик. — Мы с ней и раньше спорили. И папа, и мама тоже. Бабушка все доказывала, что в прежнее время они с дедушкой жили богаче, имели трех лошадей, двух коров. Особенно бабушка хвастает, что у нее было два самовара, один на будни, другой — только на праздники. Смешно... будто от этого чай другой.

— Верно, смешно, — сказал Ющенко и не улыбнулся. — А ты чего сюда пришел?

— Я хотел на наших посмотреть, — тихо сказал мальчик. — И потом, может, возьмете меня с собой. Разведчиком.

— Ну, это... — начал Ющенко, но Галкин перебил его быстро и твердо:

— Ты и будешь разведчиком. Только не обязательно с нами уходить. В тылу у врага разведчики самые необходимые люди. Вот скажи, сколько немцев в вашем селе?

— Сейчас немного, — живо отозвался Валерик, — а вот с неделю тому назад у нас стоял штаб.

— Штаб? — насторожился лейтенант. — Штаб чего? Дивизии, корпуса?

— Ребята говорили, штаб корпуса.

— Откуда они знают?

— Ребята знают, — уверенно сказал мальчик. — Есть такие, которые с немцами познакомились, особенно с шоферами.

— А ты?

— Я не могу. У меня папа на войне.

Галкин был еще очень молод, до сих пор на детей как-то не обращал внимания. Сейчас он с удивлением понял, что испытывает уважение к этому парнишке.

— А парни-то эти твои толковые? — спросил Ющенко.

— Толковые... — кивнул Валерик. — В этом штабе у немцев даже два генерала были.

— Куда же штаб выехал?

Мальчик пожал плечами.

— Они, когда ночью уезжали, нас в домах заперли и охрану приставили.

— Значит, не знаешь... — задумчиво повторил Галкин. — Жаль.

— Конечно, жаль. Зато я знаю, по какой дороге теперь больше всего стали ездить ихние офицеры. Сказать? Вот наше село, — он прочертил пальцем по земле, — тут одна дорога, а тут другая... Вот по этой, второй-то, и ездят.

Лейтенант сверился с картой. Дорога вела в лес, к зданию санатория. Что и говорить, помещение вполне подходящее, не случайно его облюбовали немецкие квартирьеры.

— Молодец, Валерка, эти сведения нам могут пригодиться, — похвалил Галкин.

Мальчик счастливо перевел дух, заговорил быстрее:

— А в селе нашем что! В селе у нас сейчас остались одни грузовики да два бронетранспортера.

— Ты случайно не обратил внимания — на грузовиках нет ли каких-нибудь значков? — спросил лейтенант.

— На грузовиках? Есть! Оленья голова с большими-большими рогами. Желтой краской нарисовано. А на бронетранспортерах другой значок — серебряный щит, такой, как носили рыцари.

— Это тактические знаки разных дивизий, — сказал Галкин. — А больше ты никаких не видел?

Валерик наморщил лоб.

— Солдат с цветочками на рукавах видел...

— Про этих мы знаем. Это горнострелковая дивизия «Эдельвейс». Ты про машины вспоминай.

— Ага! Вспомнил. Одну видел! У нее такой круг нарисован, а в середине сломанная полосатая палка. Шофер попросил напиться, а потом подарил соседке, которая принесла воды, открытку. На открытке такая же палка, только видно, что это шлагбаум. А потом... Очень смешно!.. — Валерик хохотнул. — Мохнатый козел с ходу как долбанет рогами по шлагбауму — тот и переломился! А от козла удирает петух в красной шапочке. Изо всех сил лупит, перья с него летят!

— Только одна такая машина проезжала? — быстро спросил Галкин.

— Я-то видел одну, но мальчишки говорят, целая автоколонна проехала к фронту. Это вам нужно?

— Пригодится, — небрежно ответил Галкин. А сам быстро прикидывал: эмблему «сломанный шлагбаум» пожаловал Гитлер одной из гренадерских дивизий, оккупировавших Францию. Советские летчики неделю назад обнаружили в Литве, возле прежней государственной границы, автоколонну, растянувшуюся на добрую сотню километров, — как раз дивизия в полном составе. За ночь ее потеряли из виду, неизвестно было, куда она направилась. Значит, вот где она объявилась, эта дивизия! Из Франции ее перебросили, да прямо под Ленинград...

Солнце почти зашло. В лесу быстро темнело. Пора было сниматься. Галкин встал, застегнул планшет.

— Спасибо, друг! — сказал он мальчику. — Ты нам помог.

— А вы придете еще? — замирающим голосом спросил Валерик. — Если придете, я вам много чего узнаю. Бабушка и мама хорошо по-немецки понимают. Я их попрошу, чтобы они прислушивались, что фашисты между собой говорят.

— Ты с бабкой своей поосторожнее держись, — хмуро посоветовал Ющенко. — Вообще разведчику полагается больше молчать и слушать.

— Это какая бабка? Вчерашняя? — неожиданно вмешался в разговор Климушкин, самый молодой боец в группе. — Вредная бабка. Из-за нее, может, и Дымов погиб. А какой человек был!

— Как погиб? — мальчик вскочил. Он так побледнел, что веснушки на его лице выступили темными пятнышками. — Почему из-за бабушки?

— Отставить разговорчики! — резко приказал Галкин и обнял мальчика за плечи. — Это, Валерка, вопрос не выясненный, почему немцы огонь открыли. Вернее всего, из-за собаки, которая увязалась за твоей бабушкой.

— В самом деле погиб? — прошептал Валерик и вдруг зарыдал.

Галкин прижал его к себе, гладил худенькие, вздрагивающие плечи, растерянно шептал:

— Да ну, успокойся, успокойся... Бабушка ничего не сказала. Тебе мы верим, ты же наш, советский...

— Я Лукса буду всегда держать на цепи! — всхлипывал Валерик. — Только вы приходите, не бойтесь...

— Может, и придем. И ты нам понадобишься. Давай так договоримся: вот здесь, у этого куста, положим два камня рядом, если придем. Ты смотри, нас по всему лесу не ищи. Подожди просто. Сами объявимся.

Прошло дней десять. На войне десять дней большой срок. Лейтенант Галкин со своими разведчиками успел еще раз побывать в немецком тылу, вернуться и снова уйти на выполнение нового задания. Теперь Галкин уже не чувствовал себя новичком.

Группа залегла в лесу вблизи деревни Тури. Утром, еще затемно, сержант Ющенко побывал в заросшей папоротниками низинке и положил у куста условленные камни. Теперь оставалось ждать вечера.

Лейтенант сидел прислонившись спиной к стволу разлапистой ели. Пахло прелью, деловито жужжала мошкара. Подремывая, лейтенант чутко прислушивался к шуму деревьев.

Придет ли сегодня мальчик? Не случилось ли чего-нибудь за эти долгие десять дней?

К вечеру поднялся туман, серой дымкой всплыл со дна низины, пополз по полям, прилип к лесу. Туман вроде бы и ни к чему. Конечно, он скрывал разведчиков, но скрывал и врагов. В тумане можно запросто напороться на патруль или засаду.

Галкин принял меры предосторожности. Разведчики разделились, вперед отправился Ющенко, за ним, растянувшись цепочкой, шли остальные. У спуска в низинку Галкин расставил дозоры, а сам стал прокрадываться по топкой тропинке. Тут его ждал Ющенко.

— Ну? — спросил лейтенант.

— Неувязка, — сказал Ющенко. — Кто-то есть, но не та фигура. Пусть ребята пошарят в окрестностях, не устроили ли фрицы засаду?

Они притаились, напряженно вслушиваясь. Но все было по-прежнему; лес молчал, только откуда-то издали волнами доносился гул, непрерывный гул войны.

Галкин тронул Ющенко за плечо, шепнул:

— Я пойду, а ты прикрывай меня.

Вокруг лежавших у тропинки камней расхаживал кто-то высокий. В плотных сумерках, да еще в тумане, очертания человека были расплывчаты и неясны. Одно понятно: это не Валерик.

Лейтенант выпрямился в полный рост, сделал несколько шагов и вдруг отпрянул.

— Это вы? — Он узнал Матильду Яновну Худолайнен. — Что вам здесь нужно?

Старуха как-то странно не то всхлипнула, не то кашлянула.

— Фалерик не притет... не мошет. Меня послала моя точь. После пяти шасов никто не мошет прийти... коментантский шас. Я имею аусвайс... пропуск от коментатур. Я утром ношу молоко на застав для коспод офицер.

Лейтенант медлил. Он был растерян. Надо расспросить, но ему мешала неприязнь к старухе. Она заговорила сама:

— Я принесла фам отну вещь, посылает моя точь.

Старуха достала из-под кофты клеенчатый конверт, застегивающийся на кнопки. Галкин нащупал внутри пачку плотной бумаги, вытащил, развернул. Карта! А на ней отметки цветным карандашом.

— Спасибо, Матильда Яновна, — сухо сказал лейтенант, а про себя

подумал: «Верить, не верить? Может, немцы подсовывают для дезинформации... Нарочно. Почему бабка? Что с мальчиком?»

— Как поживает Валерик? — спросил Галкин, стараясь говорить равнодушно.

— Не снаю... — деревянным голосом ответила старуха и вдруг разрыдалась.

Она не согнулась, не закрыла лица руками, продолжала стоять все так же прямо, только шея и плечи ее судорожно дергались. И всхлипывала она тяжело, как будто стонала от боли.

— Что с ним? Где мальчик? — встревожился лейтенант.

— Он... он... фзят... фзят залошником... Фзяли сто шеловек русских — шенщин, тетей, — кокта сгорел отин дом, где шили немцы. Я кофорила: он Худолайнен, он ингерманланд, какой он русский. Комендант не хотел меня послушать. Фнука фзяли!.. И уфезли!

Галкин старался сглотнуть комок, подступивший к горлу.

— Эту карту Фалерик фзял из афтомобиль немецки офицер накануне тот день, когта его арестофали. Моей дочери, его маме, успел шепнуть, кому ее перетать, где фас ждать. Мы каштый тень хотили, искали камни.

Она устало провела уголком платка по глазам, вытирая слезы, потом добавила:

— Я не хотела фоефать... Я тумала, немцы не так плохо... Бутем жить, торгофать молоко и офощь... Но так жить нельзя... Теперь я снаю... Мой фнук фоюет, я тоже толжна фоефать!

Начальника разведки — «глаза и уши дивизии» — вызвали в штаб армии.

— Мы расшифровали вашу карту, — сказал Галкину оперативный работник. — На этой карте обозначены склады горючего и боеприпасов. Два самых крупных склада сегодня ночью нами уничтожены. Скажите, лейтенант, вы, вероятно, до войны жили в этом районе? У вас тут оказались крепкие связи.

— Нет, — ответил Галкин. — Я в этих местах впервые. Просто мне посчастливилось встретиться с одним очень хорошим человеком. Совсем юным.

— Не теряйте с ним связи, товарищ Галкин.

Галкин помедлил.

— Боюсь, что с ним мы больше не встретимся. Но он оставил надежных заместителей.

Е. Кршижановская

ИХ БЫЛО МНОГО



Первый день летней практики прошел без особых осечек, и на следующее утро студент Института иностранных языков Ярослав Березин чуть меньше волновался, когда входил в ресторан гостиницы.

Уже накрыты к завтраку столики для группы туристов из Западной Германии, но никого еще нет. Долго спят немцы. Ярослав подошел к окну. Небо чистое, — значит, опять будет жарко.

В ресторан вошли несколько выносливых и любознательных старушек из группы Ярослава, ласково поздоровались с ним и уселись за столики, выпрямив спины. Вскоре появился толстый немец в очках с тощей женой в очках. Эта пожилая пара еще накануне раздражала Ярослава. Казалось, у них была только одна цель: полностью оправдать затраченные на поездку деньги. Супруги до последней крошки съедали поданную им пищу, иногда заметно через силу, а во время экскурсии беспрерывно расспрашивали, записывали, рассматривали, отталкивая остальных. И все это проделывали нудно, деловито.

Ярослав встрепенулся. Вот и два последних туриста из группы. Конрад Френке и его дочь Марта. Удивительно молодо выглядит подтянутый стройный отец в светло-сером дорогом костюме. Ярослав встал, одернул полы пиджака и пошел навстречу.

С самого детства он постоянно боролся со своей застенчивостью. И перед уверенным в себе, блестящим Френке Ярослав терялся и чувствовал неловкость, связывающую движения, путающую мысли.

Конрад Френке любезно поздоровался, взял дочь под локоть и повел к столу. Старушки взбодрились — они всегда оживлялись в присутствии Френке. Тот бросил какую-то шутку, они дружно рассмеялись. Марта торжествующе смотрела на всех, точно говоря: «Вот какой у меня отец!»

Во время завтрака Ярослав наблюдал за Френке и его дочерью. Необыкновенно внимателен он к ней, каждое слово встречает улыбкой, видно, гордится ею. Ярослав разглядел морщинки на лице Марты. Она, конечно, старше, чем показалась вначале, наверное, лет двадцать пять, не меньше, но все равно привлекательная и очень похожа на отца, только не такая подвижная. Френке ловко действовал ножом и вилкой. Ярославу показалось, что немец насмешливо следит за ним. Конечно, стоило подумать об этом, и сразу же кусок масла упал в чашку, кофе расплескался на скатерть. Марта отодвинулась, а отец ободряюще улыбнулся и протянул салфетку багровому от смущения студенту.

Наконец завтрак кончился, и туристы направились к автобусу. Супруги в очках оттеснили всех и заняли места впереди. День начинался экскурсией в Эрмитаж. По дороге Ярослав еле успевал отвечать на вопросы. А Френке устроился с дочерью позади и что-то оживленно говорил, разглядывая в окно мелькавшие скверы, дома, мосты. Туристы снова заинтересовались Петропавловской крепостью. Пришлось остановиться, и Ярослав начал старательно повторять все, что говорил вчера. Вдруг Френке с досадой пожал плечами. Ярослав пролепетал несколько слов и умолк, точно школьник, не знающий урока.

Немец неторопливо закурил сигарету, сел поудобнее и начал длинный обстоятельный рассказ о постройке крепости на Неве. Туристы с интересом слушали, повернувшись к Ярославу спинами.

Приготовился немец к поездке или действительно культурный человек? Ярослав со стыдом подумал, что не смог бы так долго рассказывать, например, о Рейне, как Френке говорит о Неве. Ярослав вспомнил, что стоит, как провинившийся, один посреди автобуса, и пошел на свободное место, споткнулся и свалил чью-то сумку. На него зашипели, а Френке снисходительно улыбнулся и поднял руку, призывая к тишине.

В музее Френке был в прекрасном настроении. Туристов водил экскурсовод Эрмитажа, знающий немецкий язык. Ярослав, довольный передышкой, слушал объяснения и изредка поглядывал на Френке.

Из Эрмитажа поехали на текстильную фабрику. Ярославу было нелегко. Директор, недовольный тем, что его оторвали от дела, торопливо проходил по цехам и под грохот станков бегло давал объяснения. Ярослав вспотел от напряжения, стараясь переводить точно.

И только на обратном пути во дворе фабрики он обратил внимание на Конрада Френке. Большие, чуть навыкате глаза сузились, бегали по сторонам, настойчиво разыскивая что-то... а может быть, старались получше разглядеть, запомнить? Он стоял перед небольшим зданием, когда Марта подошла и, показывая перепачканную ладонь, сказала:

— Уголь попался где-то, боюсь платье запачкать.

— Идем вот сюда, левее... там душ, — сказал Френке и повел дочь к длинному корпусу.

Душ действительно оказался там. Вскоре Марта вышла, обтирая платком руку. Откуда немец знает? Надписей никаких нет, в окна не видно... Ярослав постеснялся спросить. Все это странно... И почему у Френке такое встревоженное, постаревшее лицо? А может быть, плохо почувствовал себя, устал? В таком возрасте быстро устают, хоть и бодрятся. Спросить или сделать вид, что не заметил?

Толстый немец в очках посмотрел на часы и сказал:

— Как бы не опоздать к обеду.

— Правильно, — согласился Френке и вышел на улицу первым, точно хотел поскорее уйти с фабрики...

У Ярослава было неспокойно на душе. Непонятный человек этот немец. Что с ним происходит? Такой самоуверенный, даже нагловатый... Вот опять непринужденно разглагольствует, смешит туристов какими-то шутками, усаживается в автобусе, как в собственной машине — сигарета в зубах, локоть на спинке сиденья...

Автобус поехал в гостиницу другим путем. На одном из перекрестков пришлось остановиться — скопилась вереница машин. Два пустых трамвайных вагона стояли поперек дороги. Очевидно, что-то произошло. Туристы заглядывали в окна и гадали: надолго ли задержка?

— Ну вот, опоздаем к обеду. Так и думал, — сказал толстый немец.

— Не волнуйтесь, их угонят сейчас. Тут рядом трамвайный парк, — успокоил Френке.

Ярослав ошеломленно посмотрел на него. Откуда иностранец знает, где находится парк? Почему такая правильная ориентация? Еще вчера Френке что-то упоминал о Казанском соборе, Гостином дворе. Ну, это понятно: есть путеводители, да такие вещи всем известны. Но трамвайный парк...

Ярослав никогда не увлекался книжками и фильмами о шпионах. Какие у них повадки? В газетной статье недавно упоминалось о туристе... Да нет, такой любящий папаша не станет рисковать, а Марта на шпионку никак не похожа... И, во всяком случае, шпионы — люди осторожные и не стали бы выкладывать свои знания. А вдруг немец проговорился и сейчас ругает себя? Не поймешь...

С одной стороны, ему даже нравился Френке — оживленный, подтянутый. И главное, такой внимательный к дочери, заботливый. А с другой стороны, он вызывал у Ярослава тяжелое, смутное чувство...

Пустые вагоны вскоре действительно угнали, и автобус двинулся дальше. А через несколько кварталов туристы увидели трамвайный парк.

«Спрошу, откуда он знает», — взволнованно подумал Ярослав, но немец в очках опередил его и весело сказал:

— Я был уверен, что вы шутите насчет трамвайного парка, а он и правда тут. Вы хорошо знаете город! Бывали здесь раньше?

— Как-то раз до войны. По делам фирмы.

— Первый раз слышу! — удивилась Марта. — Почему я не знаю? И ты же никогда не имел дела с трамваями.

Френке шутливо погрозил дочери пальцем:

— Пожалуйста, без допросов! А то начну проверять каждый твой шаг. Хочешь?

— Попробуй только! Но мне просто интересно. Расскажи, как ездил.

— Потом как-нибудь. В эту жару, да еще на пустой желудок... — Френке вздохнул с комическим отчаянием. — Да и рассказывать особенно нечего. Короткая деловая поездка.

После сытного обеда в гостинице выносливые старушки все же запросились отдохнуть. Супруги в очках тоже ушли в свой номер. А Марта, лукаво поглядывая на отца, сказала Ярославу, что было бы хорошо пробежаться по магазинам.

Этого Ярослав как раз терпеть не мог, да еще в такую жару, да еще затянутым в плотный костюм. Но пришлось вежливо обрадоваться этой идее и бодро зашагать к универмагу. В спортивном отделе Конрад Френке, несмотря на протесты дочери, обстоятельно, с удовольствием рассматривал удочки, лески, крючки. Рабочее время кончилось, народу было много. Всклокоченный, распаренный жарой мальчишка нырнул под локоть немца и, стоя вплотную к нему, тоже стал перебирать руками рыболовные принадлежности. Френке отошел от прилавка.

После долгого мотания по универмагу Марта купила балалайку и наконец согласилась выйти на улицу и вдохнуть свежего воздуха. Об этом уже давно просил отец.

— Обожаю магазины, пойдемте в другой, — сказала она.

Ярослав с надеждой посмотрел на часы.

— Боюсь, в театр опоздаем. Отложим на завтра.

— Правильно, отложим. Да что магазины, лучше посмотри на великолепную архитектуру. Даже здесь вот, на одном только Невском проспекте, — говорил Френке, все больше воодушевляясь. — Адмиралтейство, Казанский собор... А в эту сторону — памятник Екатерине и дворец... Юсуповский.

— Это Аничков дворец, — перебил Ярослав.

— Ах да, верно. А какой мостик дальше! Помнишь, Марта, есть такая опера, там героиня бросается с моста в Зимнюю канавку. Вот это и есть.

Сбитый с толку Ярослав покосился на Френке. Ничего не понять. То немец знает, где находится трамвайный парк, то путает вещи, о которых пишется в любой книге, в любом путеводителе. Может быть, Френке нарочно теперь так? Жалеет, что проговорился, наболтал лишнее, и строит из себя наивного иностранца...

В театр успели только к самому началу. Ярослав сел рядом с супругами в очках. Лучше такое унылое соседство, лишь бы подальше от Френке, вызывающего тревожное, неприятное чувство. Скорей бы проводить туристов обратно в гостиницу и сразу — домой, передохнуть от этого напряжения.

Концерт ансамбля пляски под конец первого отделения расшевелил даже унылую пару в очках. Они дружно хлопали, кричали «бис». И Френке с дочерью раскраснелись и с энтузиазмом аплодировали. У Ярослава поднялось настроение. Пускай смотрят, как работают наши артисты. Вдруг он улыбнулся. Марта встала, и Ярослав, взглянув на ее платье из блестящей материи с замысловатыми поперечными полосами, подумал, что она напоминает длинную металлическую стружку.

В антракте туристы вышли в фойе. Конрад Френке достал сигарету и огляделся, видимо, отыскивая место, где можно курить. В это время пожилой мужчина спросил о чем-то билетершу.

— Курительная — вниз, по лестнице и направо.

Услышав это, Френке направился к лестнице. Мужчина затерялся в толпе. Конрад Френке подозвал немца в очках, который нерешительно топтался с пачкой сигарет в руках.

Ярослав начал спускаться вслед за иностранцами и взволнованно подумал: «Если он повернет направо, значит, понимает русский. Так почему ни разу не говорил об этом?»

Френке легко сбежал с лестницы и повернул направо. А что, если спокойно подойти и сказать что-нибудь по-русски и посмотреть прямо в глаза? Любопытно, как поведет себя немец, какое у него будет лицо? Но ведь это прямой вызов...

Немного помедлив, Ярослав вошел в курительную. Оба иностранца стояли спиной к нему в конце большого помещения, в стороне от потока людей и о чем-то спорили. Ярослав пробрался к ним поближе и остановился в нерешительности. Заводить объяснение при туристе в очках? Нет, неудобно. Проклятая застенчивость, вечно все неудобно.

Они стояли спиной к Ярославу, и Френке своим резким голосом назидательно говорил:

— Я повторяю. Преступная ошибка! Как можно было отменить приказ о наступлении? Уверен, что если бы мы взяли Ленинград... война не была бы проиграна...

Антракт кончился, и Френке, занятый своими мыслями, вышел из курительной, не заметив Ярослава.

После концерта туристы направились к ожидавшему их автобусу. Все начали усаживаться, а Марта шаловливо подхватила отца под руку и сказала:

— Куда спешить, пройдемся пешком, такой чудный вечер!

Любознательные старушки охотно вылезли из автобуса и согласились, что неплохо погулять перед сном и посмотреть ночной город. Уны-



лая пара немного поворчала, но тоже вышла из машины. Ярослав отпустил шофера, и все отправились пешком.

— А не очень далеко? Завтра встаем рано, — забеспокоился Френке.

— Успеешь выспаться, — засмеялась Марта. — И снова будешь нам показывать крепости, дворцы и трамвайные парки!

Опять об этом парке. Весь день Ярослава почему-то тревожила мысль о нем.

Марта с отцом догнали остальных туристов и принялись болтать о берлинских театрах. Ярослав шел позади и не отрывал глаз от высокой фигуры Конрада Френке. Теперь этот человек стал понятнее, высказался в курительной...

Все ясно, вот только... Ярослав лихорадочно напрягал мысли. Откуда иностранец знает про парк? Почему не ответил прямо на вопрос дочери, отделался шуткой... Говорит, что был до войны, но столько лет прошло, как запомнить место, если был там раз-другой по делу? Хорошо ориентироваться смог бы только человек, который там жил хоть недолгое время или работал...

Работал! У Ярослава вдруг так забилось сердце, что он остановился, задыхаясь, и прикрыл глаза. И сразу совершенно отчетливо, точно он смотрел кинофильм, перед ним встало далекое воспоминание. Война кончилась, но в городе еще полно ее следов... С десяток мальчишек забрались по груде развалин на забор и, открыв рты, следят за тем, что делается в трамвайном парке. Среди мальчишек он, Ярослав. Все наблюдают, как пленные немцы таскают кирпичи, штукатурят, красят стены депо, моют вагоны.

— Работайте, фрицы, старайтесь! — кричат ребята.

И замолкают, когда немцы оборачивают небритые угрюмые лица с усталыми, злыми или равнодушными глазами...

Ярослав поднял голову. Так задумался, что отстал от туристов. Позади остальных бодро шагает Конрад Френке рядом с дочерью. Ярослав догнал их, и они неторопливо пошли втроем.

— Мы повсюду разъезжали с папой, — сказала Марта, продолжая разговор, начало которого Ярослав пропустил, думая о своем. — И вот я заметила: и в Италии, и в Англии есть еще кое-где развалины... ну, остатки войны. А здесь ничего такого не видала... Да, кстати: не помню, были немцы в Ленинграде?

— Да, были. Их было много. — Ярослав приостановился. Как это слово по-немецки? Ах да! И он повторил: — Немцев было много в Ленинграде... пленных...

Френке резко повернулся. Лицо его чуть побледнело. Он настороженно взглянул на Ярослава и поспешно спросил:

— Тебе не холодно, Марта? Лучше было сесть в автобус.

И торопливо, словно боясь, что его перебьют, начал говорить, говорить, перескакивая с одной темы на другую...

Николай Григорьев

ЧЕЛНОК



Был у нас в саперной роте солдат, по прозвищу Челнок. Настоящей его фамилии уже не припомню.

Челнок был из фабричных: то ли по прядению мастер, то ли по ткачеству. Словом, пришел к нам с «челночной работы». Отсюда и прозвище.

А может, так его прозвали за находчивость и изобретательность.

Быстр в мыслях — как челнок!

Значился Челнок в маскировочном взводе, а делами своими прославил всю роту.

Бывало, поступает телефонограмма:

«Пришлите погостить вашего плясуна с гармошкой».

Сегодня от пехоты телефонограмма, завтра от артиллерии, а там — от транспортников. Под «плясуном» подразумевался наш Челнок, хотя он ни плясать не умел, ни на гармошке пиликать.

Делалось это из предосторожности: чтоб фашистские слухачи, которым нет-нет, да и удавалось подключиться к нашим проводам, не распознали смысла телефонограммы.

Стояли мы под Ленинградом. Зима задалась лютая, и всю примыкающую к Ленинграду Невскую низменность завалило снегом.

Под снегом солдату жить неплохо: снег — дополнительная шуба.

Но когда залютуют бураны, — дело дрянь. В снегу пропадают дороги, и колонны машин не в силах пробиться к своим частям. А в машинах — боеприпасы, горючее для танков, продовольствие для людей.

Снег — ладно, разгребем.

Но как быть с гружеными машинами?

Пока буран, их столько скапливалось, что всем и не убраться за остаток ночи. А днем сунься-ка на открытое место — обожжешься; вражеская артиллерия не дремлет!

Нужны маскировочные сети. Сети — есть, да только, как на грех, летнего назначения: зеленые, с нашитыми тут и там лоскутами под цвет листвы.

Перебелить?

Эх, нет Челнока, чтоб посоветоваться. После бурана у него «пляс» без устали — по всей дивизии поспевает!

Перебелили сами. Для пробы.

Теперь надо поставить сеть на ребро вдоль дороги.

Ставим — а она тяжелющая, валит подпорки. Надо вкапывать столбы.

Завели в яму трехметровый столб, а тут и Челнок подоспел.

— Отставить, товарищи. Это не маскировка получается, а наоборот — демаскировка.

У нас и руки опустились: как же быть?

Задумался Челнок.

Но у него быстро: успел только полпапироски выкурить — и уже готово решение.

— Рыбаки, — говорит, — выручат!

И вправду — выручили. У рыбаков на Неве сети лежали без пользы: из-за вражеских обстрелов промысел рыбы прекратился.

Рыбачья сеть нитяная, легкая. И метнул ее Челнок вдоль дороги прозрачным облачком. Случайная ли жердочка, прут ивняка, кривая голенастая ветла — для нее все опора.

Хороша сеть. Но совсем-совсем прозрачная. Как же укроются машины?

Челнок и об этом подумал.

Велел нам присесть на корточки и поглядеть в сторону противника.

— Только, — говорит, — над самым снегом глядите. Что видите?

Братцы мои, да ведь снег-то бородатый! Столько торчит соломки, прошлогодней травы, разных прутьев, метелок, что снежная гладь похожа на подбородок небритого солдата.

Тут уж каждый догадался, что надо вплести в сеть такой же соломки, прутьев, метелок.

Снежная равнина ни чем не изменилась.

Машины с боеприпасами побежали невидимками.

Рассказываю вам про Челнока, а сам зажмурюсь — и вижу его как живого.

Ладный был паренек, про таких говорят: «Крепко сбитый».

Челнок не тянулся к щегольству, как часто случается среди сержан-

тов. Но свои вещи – шинель, шапку, сержантскую сумку — умел носить ловко и красиво.

Голос имел ровный и «раскатов грома» в разговоре с рядовыми не допускал.

А сила командирская в нем была — да еще какая! Но проявлялась она — в улыбке. В спокойной и светлой улыбке. Человека, который постиг ту простую и великую мудрость, что радость существования только в труде, в умении своими руками сделать все, что полюбится.

Работать с Челноком было весело и всегда интересно. Разгоралось желание выполнить дело как можно лучше — с челноковской ловкостью.

На войне солдату нелегко. А в осажденном Ленинграде враг как бы удвоился: отбиваешь атаки гитлеровцев — а за горло хватает голод.

Еще и болезни треплют ослабевшего человека.

Поглядишь на одного товарища, на другого — в лице ни кровинки, вокруг глаз темные круги... Этой печатью голод метил каждого защитника Ленинграда.

Но молодой коммунист Челнок не желал признавать посторонних печатей — тем более на лице. Он улыбался! А лихорадочный блеск в глазах только ярче делал улыбку.

Похудел. Но не допустил того, чтобы шинель болталась на нем, как на вешалке. Сразу к портному — переставил крючки. Ушил гимнастерку, чтобы на похудевшей шее не опадал белый подворотничок. На поясном ремне проколол новые дырки.

Сержант остался сержантом.

Умел он воспитывать своих солдат... Да что там своих! Послушайте, как он научил уму-разуму — знаете кого? Танкистов!

Танкисты — народ особенный. Они первыми вступают на поле боя, огнем и броней прокладывают путь своим войскам.

Но первыми встречают и смерть...

Заговори с ними о мерах предосторожности на войне — осмеют, словно ты позволил себе что-нибудь неприличное.

Но Челнок осмелился.

Вот как было дело.

Однажды на утренней заре по нашим дорогам двинулись танки. Как видно, меняли позицию.

— Что вы делаете, товарищи!

Челнок был ответственным за маскировку и потребовал остановить танки.

Танковый комбат только руками развел. Для чего же, мол, поставлены сети? Разве они не маскируют движение?

— Маскируют, — сказал Челнок. — От наземного наблюдателя. А воздух?

— Ну, знаешь, сержант, все это книжная премудрость. Сам когда-то в учебнике зубрил. А сейчас не мешайся. Нам в бой!

Тут зарычали и рванулись с места первые два танка, обдав Челнока снежной пылью.

Челнок вслед за ними — на дорогу. Сети стояли надежно, чуть надуваясь от утреннего ветерка и шелестя соломкой.

Но игра зари! Не нравилась она Челноку: сулила ясный день.

Так и есть: над горизонтом показалось солнце...

Восход в это морозное утро был величав и красив. Только не на радость солдату.

«Хоть бы проклятый «хеншель» проспал сегодня! Хоть бы не засек танкистов!» Но только подумал об этом Челнок — как высоко-высоко что-то блеснуло в лучах солнца.

Он! Фашистский разведчик!

Затявкали зенитки, небо покрылось дымками разрывов. Но самолет держался на такой высоте, куда зенитные снаряды не достигают.

Конечно, он уже увидел на дороге два танка.

Освещенные ранним солнцем, танки отбросили на снег огромные тени. Они как бы поволокли за собой свои собственные портреты, притом в увеличенном размере и со всеми подробностями: с обозначением башен, пушек и так далее.

Вражеский разведчик лучшего и пожелать бы не мог для фотосъемки.

И в фашистском штабе не дураки: сразу смекнут, что два танка — это лишь птенцы из большого гнезда.

«Демаскировал себя танковый батальон! — с замиранием сердца подумал Челнок. — Плохо ему придется в бою!»

И бросился навстречу остальным танкам.

— Назад, не пущу! — кричал он, расставив руки и кидаясь под гусеницы.

Но танки с воем объезжали его, а танкисты грозили из люков кулаками.

Комбат выскочил из своего танка и подбежал к Челноку:

— В трибунал пойдете! За помехи действиям батальона — трибунал... трибунал!

Но тут загрохотала вражеская артиллерия. Мощный короткий артналет — и опять тихо.

Это немцы ударили по танкам — тем двум...

«Хеншель», как видно, не только сделал фотосъемку, но и вызвал на танки огонь.

Над снежной равниной встали и заклубились два черных столба дыма.



По счастью, ребят из этих танков удалось спасти. Обгоревших, их отправили в госпиталь.

Конечно, замысел танкового боя пришлось менять. Но прежде чем повернуть батальон на другие дороги, комбат потребовал от Челнока, чтобы он помог танкистам маскироваться на походе.

Раздобыли классную доску. И Челнок, постукивая мелком, стал говорить, что не составляет большого труда — была бы охота — танк сделать не похожим на танк.

К примеру — маскируют танки под возы сена. Речь, понятно, идет о передвижении танков до боя. Вступишь в бой — тут маскировка ни к чему: танковая атака — она и есть танковая. Но худо, если враг сумел пересчитать танки, пока они были в походе. Это может сильно повредить атаке.

Лучшая маскировка — ночь. Но беда, если в танках ротозеи. Танк ночью прошел, а след остался: рубчики на дорогах. Фотоаппарат с самолета лучше всего берет эти рубчики! Поэтому рассудительный танкист, выступая в ночной поход, обязательно срубит ветвистое дерево и привяжет его сзади к танку. Дерево-метла заметет след...

В заключение урока Челнок сказал:

— Главное, товарищи танкисты, побольше наблюдательности, побольше сметки. Этим вы убережетесь от напрасных потерь.

Расскажу о случае на КП.

Закапывали мы в землю штаб дивизии... Не подумайте худого: на войне самое спокойное место — под землей.

Выбрали в лесу малоприметную с воздуха полянку. Командир роты отметил колышками, где копать, — и пошло дело. Земля мягкая — уже летом копали.

Приготовили яму. На глубине по углам поставили столбы; настлали пол, стены обшили досками.

Сколотили два топчана — один для командира дивизии, другой для комиссара; стол. Навесили книжную полку. Сложили очажок, чтобы греть чай; возле двери прибили вешалку... А потолка еще нет.

Потолок в подземной квартире-крепости — главное и наиболее сложное устройство.

Уж мы катали бревна, катали... Несколько бревенчатых потолков наложили один на другой, да все это сбили, скрутили железом.

Неплохое получилось укрытие — и от снарядов тяжелого калибра, и от авиабомб.

Постройка за постройкой — и под землей образовался целый городок. Ведь КП значит «командный пункт». А на командном пункте вокруг генерала должны быть все его помощники: начальник штаба дивизии, начсвязи, начарт, начинж, начальник политотдела и другие.

И все — отдельные комнаты, комнаты, комнаты...

А почему бы, спрашивается, не соединить все комнаты в одну большую — под общим потолком?

О, это раз в десять меньше работы! Но есть саперный закон: «На фронте не забывать о вражеском огне. Постройки рассредоточивать».

КП сработали основательно, отлично замаскировали — и поначалу ничто не предвещало беды.

Но вот как пошли события.

Днем генерал на передовой руководит боем. А к ночи, когда бой утихает, отправляется на КП.

Приляжет на топчане, часа два поспит, потом кружкой горячего чая разгонит сон — и за работу.

Надо составить боевой приказ на следующий день. Этот приказ, отстуканный на пишущей машинке, уместится на листке папиросной бумаги («прочитать и сжечь»). А какой огромный труд предшествует ему!

Надо позаботиться, чтобы для боя хватило снарядов, патронов, мин; чтобы наготове были резервы пехоты и артиллерии; чтобы наши танки, двинувшись на врага, не попали в ловушку; чтобы связь, теряя в бою одну линию за другой, все же действовала непрерывно...

Расчеты, расчеты, расчеты... Их собирает и объединяет начальник штаба. У генерала приказ окончательно отрабатывается.

И так — день за днем. Вот уже кончилось лето. На дворе — осень. Ночью, да еще в лесу, без фонарика и шагу не ступить.

И вдруг — несчастье. Из-под земли поднялся наружу начарт. Как раз ему — к начальнику штаба.

Посветил себе — и тут же упал мертвым.

В этот же ночной час на другом конце подземного городка появился солдат. Из охраны штаба. Сменился с поста — как не покурить на сон грядущий! Но едва поднес себе огонька, как цигарка выскользнула изо рта, осыпалась искрами. Глухо шлепнулось на землю мертвое тело...

У обоих обнаружили пулевые отверстия на темени. Значит, стреляли сверху.

«Тревога, напали кукушки! Штаб — в ружье!»

Кинулись обстреливать кроны деревьев.

Но где тут! Лесная чаща, фашистские снайперы успели улизнуть.

К следующей ночи охрана вооружилась зенитным пулеметом.

Но «кукушки», как видно, ударили издали. И опять — жертвы.

Генерал рвал и метал. Ведь подумать только: погибали офицеры штаба.

— Почему разбросали штаб во все стороны, а не весь под одной крышей? Саперный закон? Знать не знаю такого закона, если от него только вред!

И генерал потребовал от нас немыслимое: к следующей же ночи сде-

лать передвижение на КП безопасным: «Хоть метро прокладывайте, меня не касается!»

Легко сказать — «метро»!

К тому же сутки сроку — как отрублено.

Тут потребовали внимания наши саперы, из стариков.

— Голландскими рамами под землей пройдем. Беремся, ребята, это быстро!

— А вы на деле покажите.

Один из старичков схватил топор, вытесал четыре бруса, составил раму сантиметров 70 в квадрате.

Повел нас для пробы в овраг – и давай вкапываться в отвесную стенку. А чтобы коридорчик не обваливался, укреплял его рамами, на манер тюбингов в метро.

«Дельная штука, – нахваливал старичок. — В первую империалистическую я за голландские рамы «Георгия» получил. Подкоп сделал под германца. Бочку пороху туда, запалил фитиль, а сам взад пятки обратно...»

Комроты засек пробную работу по часам. И вынес приговор:

— Не годится. Мало отверстие. Разок проползти взад пятки — это одно, а для передвижения по КП не годится. Да и работа канительная — к сроку не поспеть с вашими голландскими ходами.

Тут нас как осенило.

«Ходы»! Мудрим с голландскими, а чего проще — обыкновенный ход сообщения!

Прокопаем узкие канавы в человеческий рост; сверху — жердочки, по жердочкам — дерн для маскировки.

Взяться всей ротой — к ночи и управимся.

Однако боевая обстановка полна неожиданностей... В бою что-то случилось с танками. Генерал позвонил с передовой и потребовал нашу роту на выручку.

А как же с ходами сообщения?

Новый приказ, как известно, отменяет предыдущий. Но есть у советского солдата воинская совесть. И эта совесть подсказала нам, что мы обязаны и танкам помочь, и к ночи обезопасить штабных товарищей от «кукушек».

А дело смекнул Челнок.

— Я, — говорит, — устрою безопасное передвижение.

Командир роты:

— Сколько человек вам оставить?

— Управлюсь один.

Комроты рассердился. Надо спешить на передовую. Ему не до шуток.

— Говорите дело, сержант. Или, может быть, для вас чудо-машины припасены?

Челнок улыбнулся:

— Да какое же это чудо, товарищ командир, — простая веревка!

Я видел, как он начал работу.

Можжевеловый куст. А под ветвями... нет, это не звериная нора: это ход под землю, к генералу.

К кусту Челнок прикрепил веревку и тут же для маскировки утопил в траву.

Так, скрытно, он протянул веревку к другой норе. Здесь из-под лапчатой елки ночью появится новый начарт. Фонарик не потребуется. Даже с закрытыми глазами можно нащупать веревку, и она прямиком приведет начарта к генералу.

У веревки есть ответвление — это путь к начальнику штаба.

Саперная рота двинулась на передовую, а Челнок остался на КП, чтобы и остальные норы соединить веревками.

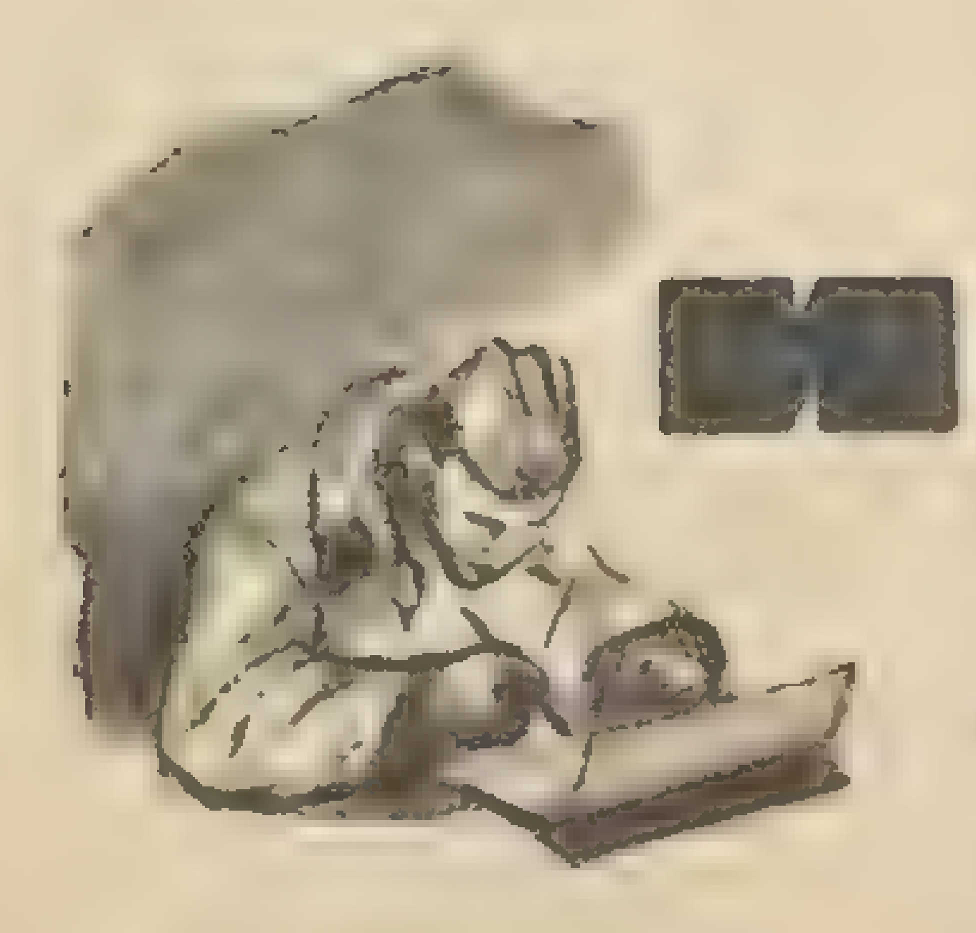
Но уже на полдороге он догнал нас: управился с одним делом и спешил ко второму.

Не любил Челнок отставать от товарищей!

Б. Никольский

ЗАГАДКА „ОКОПНОЙ ПРАВДЫ"

(документальный рассказ)



История эта началась более четырех лет назад в Севастополе. Осенью 1960 года я приехал туда в командировку от журнала «Костер» написать очерк о севастопольских ребятах. Командировка моя подходила к концу, материал был собран, в кармане уже лежал билет на поезд «Севастополь — Ленинград», и я не подозревал, что самое интересное еще ждет меня впереди, что мне предстоит стать участником событий увлекательных и в то же время запутанных, событий, на разгадку которых потребуется целых четыре года...

Перед отъездом я зашел в 6-ю школу попрощаться. Я сидел в пионерской комнате и ждал, пока вожатая закончит разговор с ребятами. Не помню уже точно, о чем шел этот разговор, но вдруг я услышал:

— Только не забудьте, обязательно прочтите на сборе письмо Валерика Волкова.

Я спросил вожатую, что это за письмо.

— Письмо написал парнишка, школьник, он погиб во время войны здесь, в Севастополе... Да вот, если хотите, почитайте, — и она протянула мне листок бумаги, на котором был отпечатан бледный машинописный текст.

Я начал читать.

ОКОПНАЯ ПРАВДА № 11

Наша десятка — это мощный кулак, который враг считает дивизией, — сказал майор Жидилов, — и мы будем драться, как дивизия».

Нет силы в мире, которая победит нас, Советское государство, потому что мы сами хозяева, нами руководит партия коммунистов. Вот посмотрите, кто мы...

Здесь, в 52-й школе:

1. Командир морского пехотного полка майор Жидилов — русский.
2. Капитан-кавалерист Гобаладзе — грузин.
3. Рядовой, танкист Паукштите Василий — латыш.
4. Врач медицинской службы капитан Мамедов — узбек.
5. Летчик, младший лейтенант Илита Даурова — осетинка.
6. Моряк Ибрагим Ибрагимов — казанский татарин.
7. Артиллерист Петруненко из Киева — украинец.
8. Сержант-пехотинец Богомолов из Ленинграда — русский.
9. Разведчик-водолаз Аркадий Журавлев из Владивостока.
10. Я, сын сапожника, ученик 4-го класса, Волков Валерий — русский.

Посмотрите, какой мощный кулак мы составляем и сколько фашистов нас бьют, а мы сколько их побили; посмотрите, что творилось вокруг этой школы вчера, сколько убитых лежит из них, а мы, как мощный кулак, целы и держимся, а они, сволочи, думают, что нас здесь тысяча, и идут против нас тысячами. Ха-ха, трусы, оставляют даже тяжело раненных и убегают. Эх, как я хочу жить и рассказывать все это после победы всем, кто будет учиться в этой школе!

52-я школа! Твои стены держатся, как чудо среди развалин, твой фундамент не дрогнул, как наш мощный кулак десяти...

Дорогая десятка! Кто из вас останется жив, расскажите всем, кто будет в этой школе учиться, где бы вы ни были, приезжайте и расскажите все, что происходило здесь, в Севастополе. Я хочу стать птицей и облететь весь Севастополь, каждый дом, каждую улицу. Это такие мощные кулаки. Нас миллионы, нас никогда не победит сволочь Гитлер и другие сволочи. Нас миллионы, посмотрите! От Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от Севастополя до Ташкента таких кулаков миллионы, и мы, как сталь, непобедимы!

1942.

Валерий «поэт». (Волк.)

Наверно, не стоит говорить, что я испытывал, читая этот листок; любой человек на моем месте испытал бы то же самое.

Но кто этот Валерий Волков? Как он погиб? Как попал этот листок в школу? Что известно о тех, чьи имена названы в «Окопной правде»?

Это были первые вопросы, которые пришли мне в голову и которые я, торопясь и волнуясь, задавал пионервожатой. И вот что я узнал.

Листок этот, а точнее, копию его, несколько лет назад привезла в школу Илита Даурова, осетинка, бывшая летчица чья фамилия тоже

упоминается в «Окопной правде». Она приезжала в Севастополь, чтобы разыскать места, где ей приходилось сражаться вместе с Валериком, чтобы рассказать о нем севастопольским ребятам. Почему она пришла именно в 6-ю школу? Да потому, что ей показалось, будто на этом месте и находились развалины 52-й школы, где вела бои отважная десятка.

В Севастополе она пробыла всего два или три дня. На нее нахлынули воспоминания. Даурова почувствовала себя плохо и должна была вернуться домой в Орджоникидзе. После ее отъезда ребята пытались найти людей, чьи имена названы в боевом листке, но это оказалось не так просто. Найти никого не удалось. Прошло время, поиски совсем прекратились: те ребята, которые встречались с Дауровой, уже кончили школу, учителя многие сменились, да и сама пионервожатая работала здесь совсем недавно, — так что о приезде Дауровой никто уже не мог рассказать подробнее...

И все-таки не верилось, что следы затерялись, что уже ничего нельзя сделать.

Вернувшись в Ленинград, я первым делом стал звонить в Орджоникидзе — разыскивать Даурову. И вот первая неожиданная, просто почти фантастическая удача: найти Даурову оказалось совсем несложно. Она работала директором детского сада в пригороде Орджоникидзе. В тот же день мне удалось поговорить с ней по телефону. Правда, слышимость была отвратительная и я сумел выяснить только два вопроса: правда ли она та самая Даурова, которая знала Валерика Волкова, и правда ли, что у нее хранится оригинал «Окопной правды»? Да, действительно хранится... Да, действительно знала Валерика...

Через несколько дней я выехал в Орджоникидзе. Всю дорогу я думал только о том, какой окажется Илита Даурова, что расскажет она мне о Валерике.

И вот, наконец, передо мной стоит высокая женщина с совсем еще не старым лицом и седыми волосами, со шрамом на виске. Она волнуется.

Позже я узнал, что сама Даурова — человек необычайно интересной судьбы. В восемнадцать лет она уже была депутатом Верховного Совета Северной Осетии, получила орден Трудового Красного Знамени за высокие урожаи, затем стала первой летчицей-осетинкой и даже на одну из сессий Верховного Совета прилетела на самолете — чтобы все могли убедиться, что женщины-горянки тоже умеют летать. Но все это я узнал позже, а тогда, не перебивая, слушал ее рассказ о Валерии Волкове.

— Незадолго перед войной, — рассказывала Даурова, — меня направили в Москву, в Сельскохозяйственную академию, учиться. Но я еще очень плохо знала русский язык. Помню, даже путала слова «лошадь» и «ложка», думала, что «ложка» — это уменьшительное от «ло-

шади». Учеба давалась мне плохо. Тянуло меня к технике; какой-нибудь там мотоцикл, машину я могла просто часами рассматривать — не оторвешь. Не помню сейчас, кто меня надоумил, только попала я в аэроклуб, стала летать, ушла из академии и уже перед самой войной поступила в военное авиационное училище.

Училище закончить не удалось; началась война, нас выпустили досрочно, послали на фронт. Летала я тогда на транспортных самолетах, участвовала в боях.

Во время осады Севастополя мой самолет подбили над Черным морем, я выпрыгнула с парашютом. Плавала я плохо, можно сказать, совсем не умела плавать, спас меня резиновый надувной пояс. Сколько я тогда пробыла в воде — не знаю. Уже и не верила, что спасут. Несколько раз теряла сознание. И помню только, что все время, как в бреду, вертелась у меня в голове одна сказочка — еще в детстве слышала я ее от отца. Знаете, есть такая сказка, как кит проглотил человека и человек жил у него в желудке, в полной темноте. Вот и мне казалось, что сейчас наступит для меня такая темнота — и все. Я чувствовала: еще немного — и последние силы оставят меня.

Меня спасли. То ли какое-то судно, то ли подводная лодка, точно не помню. Но спасли и привезли в Севастополь. Здесь меня немного подлечили, и я попала в отряд, который был сформирован из таких же, как и я, людей, случайно очутившихся в осажденном городе.

Однажды меня и еще двух бойцов — одного пехотинца и одного моряка — послали с заданием в пригородные селения, за линию фронта. Когда переходили линию фронта, один из бойцов был убит. Мы остались вдвоем — я и моряк.

Добрались до небольшого, словно вымершего поселка. И вот здесь, в одном из полуразрушенных домов, мы увидели мальчишку. Когда мы вошли, он стоял прижавшись к стене, раскинув руки, точно распятый. Я еще подумала тогда: может быть, он мертвый, может, немцы распяли его — ведь каких только зверств они не делали...

Но мальчик был живой. Я заметила, что он дышит и следит за нами.

— Ты кто такой? — спрашиваю.

— А вы кто такие?

— Ты что здесь делаешь?

— А вы что делаете?

Только когда, наконец, он понял, что перед ним свои, он рассказал нам, что он сын сапожника, что в Крым они с отцом приехали совсем недавно, что отца прямо у него на глазах застрелили немцы и теперь он остался один.

— Я с вами, я пойду с вами, — говорил он, — я не останусь.

И как мы ни убеждали его, что переходить линию фронта опасно, что в Севастополе сейчас самое тяжелое время, он так и не отстал.

Ночь уже кончалась, когда пошел ливень. Под ногами оползала глина, идти было тяжело.

Время от времени раздавались автоматные очереди — это немцы стреляли наугад, в темноту.

Неожиданно упал моряк. Когда я подползла к нему, увидела кровь на тельняшке. Он задыхался. Он был ранен в грудь. Вместе с Валериком мы тащили его на себе.

Уже совсем рассветало, когда мы выбрались к небольшой речке. И тут мы увидели, что наш товарищ мертв. Мы не знали, что несли уже мертвого. Его надо было похоронить. Мы не могли оставить его вот так, под открытым небом. Но как выкопать могилу? Чем? Я совсем растерялась, я не знала, что делать. Выручил Валерик. Он снял с пояса убитого нож и стал им рыть землю. Мы копали могилу по очереди...

До Севастополя мы добрались благополучно.

Валерика зачислили в отряд, выдали солдатское обмундирование. Он почти не расставался со мной, да и я привязалась к нему, как к младшему брату. В перерывах между боями он писал стихи, под которыми подписывался так: «Вол, поэт», выпускал боевые листки. Эти боевые листки, пробираясь по траншеям, он носил из одного подразделения в другое, чтобы солдаты знали, как идут дела у их товарищей. Бойцы тоже полюбили его, повсюду его встречали с радостью.

Но вот наступили самые тяжелые дни — последние дни обороны Севастополя. На наших глазах умирали тяжелораненые; они просили пить, а мы не могли дать им напиться, потому что воды у нас не было.

Шли жестокие бои. Мы удерживали развалины школы. Вот тогда-то Валерик и написал свой последний боевой листок — «Окопную правду № 11».

Он пробирался по траншее к соседям, когда вдруг на узкой улице появились немецкие танки. Они были совсем близко.

И тут мы увидели Валерика. В правой руке у него была связка гранат. Путаясь в полах шинели, он бежал навстречу танкам. Танки открыли огонь. Валерика ранили в плечо. Он перехватил гранаты левой рукой, уже падая, бросил их. Гранаты упали совсем рядом. Раздался взрыв: первый танк загорелся. Но и Валерик лежал неподвижно. В танки полетели гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул еще один танк, другие повернули обратно.

Когда я подбежала к Валерику, он был еще жив. Он приподнял голову, пытаясь что-то сказать, но так и не смог произнести ни слова...

Мы похоронили его здесь же, возле развалин школы. Над его могилой развевался красный галстук...

А на другой день и я была тяжело ранена. Помню только, как меня несли на носилках, как кто-то споткнулся — и носилки упали. Больше я ничего не помнила.

Очнулась я только через год, в госпитале, в Куйбышеве.



Сначала я не могла вспомнить даже свою фамилию, потом память постепенно начала возвращаться ко мне. Но ни боев в Севастополе, ни Валерика Волкова я тогда не помнила.

Так прошло несколько лет. И вот однажды, уже после войны, в Орджоникидзе, я получила письмо. В письме лежал старый боевой листок и обгоревшая фотография.Это письмо прислал мой фронтовой товарищ Петруненко. Он писал, что тяжело болен, что почти не встает, но боевой листок и эти последние слова Валерика «Дорогая десятка... где бы вы ни были, приезжайте и расскажите все, что происходило здесь, в Севастополе...» не дают ему покоя. Он просил меня съездить в Севастополь и выполнить последнюю просьбу Валерика.

И вот тогда я вспомнила все. И поехала в Севастополь. Ну, а остальное вы знаете... Так вот копия «Окопной правды» и попала в шестую школу...

— А оригинал? Сохранился ли оригинал?

— Да, сохранился, - ответила Даурова. — И она рассказала, что, решив его спрятать понадежнее, положила между страницами одной из книг, а какой — теперь не помнит.

— Вот здесь где-то, — сказала она и показала на груду книг, аккуратно уложенных в стенной нише.

Торопясь и волнуясь, пересматривали мы все книги, перетряхивали их одну за другой. Разные документы попадались в них: старые удостоверения, какие-то справки, письма, не было только того, что мы искали. Добрая сотня книг уже лежала на полу, я уже начал терять всякую надежду, когда из одной книжки выскользнул сложенный вчетверо листок старой пожелтевшей бумаги, исписанный карандашом. «Окопная правда»!

Да, я держал в руках «Окопную правду № 11» — последнее письмо Валерия Волкова, адресованное живым...

Казалось, теперь-то все было ясно и просто. Надо написать о Валерике, чтобы о нем узнали наши ребята, чтобы имя пионера-героя стало известно всем.

Об этом я думал, возвращаясь из Орджоникидзе. Правда, рассказывая о Валерике, Даурова кое-что путала, не могла вспомнить некоторых дат, не могла сказать точно, когда она попала в Севастополь, когда встретилась с Валериком, когда именно погиб Валерик, не помнила фамилий людей, снятых вместе с ней и Валериком на полуобгоревшей фотографии... Но все это меня не особенно смущало. Я решил заехать в Москву, встретиться с бывшими руководителями обороны Севастополя и попытаться все уточнить...

Я и не подозревал, что именно в Москве меня ждут неудачи и разочарования.

И вот я в квартире бывшего секретаря горкома партии Севастополя, автора нескольких книг о севастопольской обороне, Борисова.

— А знаете, — говорит он мне, — в рассказе Дауровой очень много неточностей, которые трудно объяснить. Вот смотрите. Даурова вспоминает, что Валерик погиб на месте шестой школы, на Корабельной стороне. Но на Корабельную сторону немецкие танки прорвались только в последний день обороны города. В этот день никого из участников обороны вывезти уже не удалось. А Даурова оказалась в Куйбышеве. Как? Каким образом? Затем в «Боевом листке» названа 52-я школа. Но школы с таким номером в Севастополе вообще не было. Выходит, — еще одна загадка. Дальше. Валерик пишет о майоре Жидилове, командире пехотного полка. Но такого майора тоже не было. Был Жидилов, генерал-майор, но он не мог в те дни оказаться вместе с Валериком и Дауровой, потому что командовал бригадой морской пехоты, которая держала оборону в районе Сапун-горы. Опять загадка.

Я сидел и слушал, совсем растерянный, а Борисов все задавал и задавал вопросы, на которые пока что нельзя было найти ответа. Оказывается, все действительно было не так просто, как думалось...

Итак, надо было разгадать все эти загадки. Но как, с какого конца начинать?

Первым делом я позвонил в Севастополь. Да, местные старожилы подтвердили, что 52-й школы в Севастополе не было. И даже с каким-нибудь похожим номером не было. А мне все-таки не верилось. Уж очень хотелось, чтобы такая школа была. И вот я отправился в Публичную библиотеку, разыскал телефонный справочник Севастополя за 1941 год и принялся его изучать. Но, увы, не только школы, ни одного учреждения с 52-м номером в Севастополе не было!

Тогда я написал письмо жене Петруненко по адресу, который мне дала Даурова. И опять неудача. Письмо вернулось с пометкой: «Адресат выбыл в неизвестном направлении».

Я попробовал поговорить с участниками обороны Севастополя — они только подтверждали сомнения Борисова.

Неужели ничего нельзя было сделать? Неужели эта история так и должна была остаться неразгаданной?

И тут на помощь пришла «Пионерская правда».

— Давайте, мы напечатаем в газете боевой листок и фотографию, — предложила мне тогдашний редактор «Пионерской правды», Таисия Владимировна Матвеева. — У газеты миллионы читателей, наверняка кто-нибудь отзовется.

Так в «Пионерской правде» появилась первая заметка о Валерии Волкове. Поперек страницы шли крупные буквы: «Тайна «Окопной правды» должна быть раскрыта!»

Редакция с нетерпением ждала писем. И они пришли. Но... ничем помочь нам эти письма не могли. Например, писала девочка из Воронежа:

«Сегодня утром я пришла из школы и увидела, что моя мама читает «Пионерскую правду» и плачет. Оказывается, на фотографии она узнала своего брата. До сих пор она о нем ничего не знала, кроме того, что он пропал без вести в Севастополе. Дорогая редакция, может быть, вы что-нибудь еще знаете о нем?»

Вот такие были письма. Одно, другое, третье...

Опять неудача. Казалось, все, конец. Казалось, исчезла последняя надежда.

И вот тогда-то за дело взялись красные следопыты. Можно очень интересно и долго рассказывать о том, как ребята из 613-й московской школы вместе с севастопольцами отыскивали и все-таки отыскали школу, возле которой погиб Валерик (это оказалась 12-я школа); как нашли они селение, где Даурова впервые встретилась с Валериком; как в то же самое время ребята из Орджоникидзе обнаружили у матери Дауровой письма Илиты Кирилловны из Севастополя; как разыскали они бывшего однополчанина и земляка Дауровой Азиева, который хорошо помнит Валерика Волкова... Но если рассказывать подробно обо всех поисках, обо всех надеждах и разочарованиях, успехах и неудачах, то надо написать целую книжку. И, наверно, такая книжка будет написана.

А пока скажу только, что уж совсем недавно во всех газетах был напечатан указ Президиума Верховного Совета о награждении пионера-героя Валерия Волкова.

И теперь в Центральном музее Советской Армии, там, где хранятся боевые знамена и прославленное оружие, под стеклом, рядом с «Окопной правдой» и полусгоревшей фотографией, лежит посмертная награда Валерия Волкова — орден Отечественной войны I степени.

Андрей Татарский

БУМЕРАНГ

(три дня из жизни разведчика)



Мы так и не узнали его настоящего имени. Нам сказали только, что родился он в Туле, мальчиком уже выступал с фортепьянными концертами, а в партию был принят еще в гражданскую войну, по рекомендации Феликса Дзержинского...

1. УРАВНЕНИЕ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ

Рабочий день начальника «службы безопасности» города N Вернера фон Кляйвиста близился к концу, когда караульный пост доложил, что из лагеря военнопленных доставлен русский перебежчик.

— Ко мне! — бросил в телефонную трубку штандартенфюрер.

Маленький, узкоплечий, зажатый между огромными столом и окном, он сидел, зарывшись в кипу досье, и тяжелая тень подвешенной к карнизу бронзовой свастики падала на его светлый чесучовый пиджак и жесткие волосы, взлохмаченные нервными пальцами. Давно не приходилось ему работать с таким напряжением, как в это знойное, нескончаемое лето, третье лето русской кампании.

Через несколько минут конвой ввел в его кабинет рыжего гиганта в изодранной форме офицера Советской Армии.

— Шеф, взгляните! — вскочил сутулый однорукий адъютант (ред-

кая для него несдержанность), уставившись на грязного пленного, как на выходца с того света.

Кляйвист скользнул по вошедшим взглядом, не спеша обмакнул перо в чернила и, расписавшись на препроводительной бумаге, вернул ее с той же неторопливостью старшему конвоя:

— Можете отправляться в лагерь. Этот русский останется у нас.

Едва конвойные исчезли за дверью, перебежчик вытянулся, рука взметнулась в эсэсовском салюте.

— Унтерштурмфюрер Рогге прибыл из... — осипший от волнения могучий бас прервался, на обветренных скулах проступил румянец.

Но Кляйвист уже шел к нему, раскрыв объятия.

— Эрих, мой мальчик... ты жив... вернулся!

— Учитель, я выпачкаю вас... Сутки через эти русские болота...

— Бедняга! — Кляйвист провел ладонью по его щеке, заросшей ржавой щетиной. — Как ты осунулся...

Он любил своих выучеников, своих бесстрашных асов, как любит ваятель создания рук своих, любил и гордился ими.

— Учитель, вся моя группа... Иваны словно ждали нас... Перестреляли еще в воздухе... как куропаток...

— Я знаю, Эрих, — помрачнел штандартенфюрер. — Летчик все видел.

— Если б не отнесло мой парашют...

Рогге ослабил ворот выцветшей от солнца и пота гимнастерки и судорожно глотнул.

— Кровь? — отдернул руку Кляйвист от его одежды, покрытой бурыми, запекшимися пятнами.

— Не моя... Наткнулся там на патруль. Сержанта — финкой, солдат... — Диверсант изобразил удар по шее ребром кисти, твердым, как брусок железа. — Как вы учили: никакого шума.

— Об этом после! — нетерпеливо перебил хозяин кабинета. — Ты сумел узнать? Решились они наступать?

— Да. В конце той недели. Ждут разведывательных донесений.

— Это точно? Твои данные достоверны?

— Мне удалось подключиться к штабному кабелю.

Штандартенфюрер бросился к телефону:

— Соедините меня с командующим.

— Поздравляю! — адъютант стиснул Эриху плечо. — Если твои сведения подтвердятся, быть тебе кавалером «креста первого класса с мечами»!

Диверсант не ответил: он спал. Стоя, с открытыми глазами, спал.

В кабинете незаметно сгустились серые тени, адъютант включил настольную лампу и опустил штору — Рогге все еще рассказывал.

— ...подходят новые резервы. На станции Кировской выгрузилась пятьдесят шестая Гвардейская дивизия.

Слушая его обстоятельный, хотя и не очень связный отчет, Кляйвист не мог отвлечься от тревожных раздумий.

«Значит, все-таки наступают... Да, теперь вся надежда на наш контрплан... Мы заманим их в ловушку...» И снова все та же сверлящая мысль: «Но узнай они — и мы в ней сами...»

Очевидно, он подумал об этом вслух, потому что Эрих удивленно смолк, а адъютант, прекратив стенографировать, тихо успокоил:

— Не узнают. Ведь подполье разгромлено... О, там, где действуете вы, шеф...

Штандартенфюрер не терпел лести, но преклонение подчиненных было лишь данью его заслугам. Нет, имя Кляйвиста не гремело в газетах: он предпочитал оставаться в тени. Однако к советам его прислушивался даже высокомерный начальник РСХА[1] Кальтенбруннер.

Да, тайна оперативного плана генштаба будет сохранена. Любой ценой. Этого требовала честь штандартенфюрера. Да что там честь! Испытанию подвергалось неизмеримо большее: система тотального сыска, новейшая, идеально надежная охранная система, разработке которой Кляйвист отдал столько сил!

— Эрих, — неожиданно спросил он, ощупывая любимца своими угольными, всегда чуть прищуренными глазами, — ты уверен, что не говорил о своей «командировке» при посторонних?..

Ему не давала покоя гибель группы Рогге. Русских, несомненно, кто-то предупредил...

— Не спеши отвечать, подумай. Можно ведь утратить осторожность и незаметно для самого себя. Ну, скажем... на той пирушке, которую ты почтил своим присутствием за день до отлета...

— Но, учитель... — молодой эсэсовец почувствовал упрек. — Когда у соседа день рождения... — Он согнул стальную указку. Разогнул. И вновь застыл.

— Шеф, мы ведь проверили досье всех, кто там был, — вступился за него адъютант. — Буквально не к кому придраться.

Кляйвист окинул взглядом стол, заваленный разноцветными картонными папками с грифом «РСХА. Совершенно секретно!»

— Как знать, как знать... — он с шутливой серьезностью побарабанил по коричневой папке. — А ну-ка, номер тысяча двести семьдесят, извольте отвечать следствию, как вы там развлекались? И подробно.

Адъютант улыбнулся. Шеф удивительно тонко умел снимать излишнее напряжение.

Рогге перевел дух и положил указку на карту.

— Как развлекались?.. Да, в основном, пили. — Он вдруг фыркнул. — А виновник торжества до того накачался — на крышу полез: пока-

---

[1] Имперское управление безопасности СС, объединявшее службу безопасности (СД) и тайную полицию (гестапо).

зывать, как ходят лунатики. Ну и грохнулся же он! Хорошо, у нас домишко одноэтажный, да и то не упади этот пузан на кучу песку...

— Слышали, — процедил Кляйвист. — Это уже превратилось в местный анекдот.

Рогге встретил его глаза и, поежившись, оборвал фразу на полуслове.

Штандартенфюрер обошел стол и положил руку Эриху на колено.

— Мальчик мой, я понимаю, тебе сейчас не до расспросов. Но сделай усилие, постарайся все вспомнить... — Он полистал бумаги. — В числе гостей был и наш осведомитель. Он показывает, что в тот вечер за тобой заходил Гейнц из твоей группы.

— Да. Посоветоваться, какую брать взрывчатку.

— Его тоже усадили за стол, не так ли?

— Да...

— Эрих, а не могло дальше произойти следующее? После нескольких рюмок вы решаете, что уши имеются только у вас, Гейнц заговаривает с тобой о задании, и ты...

Длинное лицо Рогге стало покрываться пунцовыми пятнами.

— Значит, все-таки... — Кляйвист отпустил его колено.

— Две-три фразы... — подавленно пробормотал унтерштурмфюрер. — И к тому же по-русски. А местных там не было.

— Но в числе приглашенных был кинооператор, он эмигрировал из немецкого Поволжья и знает русский, — вспомнил адъютант.

Рогге понурился.

— Ну, ну, не казни себя, дружок, — потрепал его кудрявые волосы Кляйвист. — Твоя неосторожность обошлась нам дорого. Но, благодаря ей, мы, кажется, вышли на след русского агента... И кто знает, так уж ли мы продешевим?..

Отпустив наконец измученного диверсанта в душевую, штандартенфюрер попросил адъютанта отнести папки в следственный отдел.

— Пусть допросят каждого.

Доносившиеся из коридора женские стоны вызвали у него страдальческую гримасу. Он не любил пыток и считал, что они выявляют не столько тайные помыслы человека, сколько его волю; легче вырвать признание у ни в чем не повинного труса, нежели у действительно виновного, но с твердым характером.

— Впрочем, одного я, пожалуй, возьму на себя, — решил он вдруг.

— Кинооператора? — протянул ему адъютант зеленую папку.

— Нет. Дайте-ка мне, Цоглих... — Кляйвист порылся в стопке и отложил себе тоненькую папку с трехзначным номером.

«Петер Фридрих Ленц, — прочитал адъютант на розовой обложке. — Корреспондент фронтовой газеты «Nach Osten!»

— А-а, прыгун с крыш...

— Берлин запросили? — осведомился Кляйвист, листая досье.

— Как обо всех подозреваемых, шеф. Документы в полном порядке.

— Хм, — поджал тонко очерченные бескровные губы штандартенфюрер. — Если все в полном порядке, значит, что-то, безусловно, не в порядке...

— Простите, шеф, но отчего именно этот? — заинтересовался Цоглих.

— Мне не нравится, — задумчиво уставился Кляйвист на лепные узоры потолка, — что там, куда он упал, оказалась куча песку...

2. КЛЕТКА ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ПОИСКИ ПТИЦЫ

Адъютант не удивился, получив распоряжение немедленно разыскать журналиста и доставить в «СД»: взявшись за дело, шеф не откладывал его в долгий ящик.

— Будьте с ним любезны, — предупредил Кляйвист. — Успокойте, что его вызывают не на допрос, а... ну, скажем, для консультации, не имеющей лично к нему никакого отношения.

Адъютант понимающе кивнул. Излюбленный метод шефа: усыпить настороженность подозреваемого и серией внешне безобидных, заданных как бы невзначай вопросов заставить того выдать себя.

— И не отбирать оружия! — крикнул вслед Цоглиху штандартенфюрер.

— Итак, «клетка отправляется на поиски птицы...» — процитировал он, зябко потирая ладони, и углубился в содержимое розового досье.

На первой странице с потрескавшейся фотографии на него тупо глядело стеклянными глазами плебейское толстощекое лицо.

Родился в 1893 году в Женеве. «Так. Значит, не в Германии...»

Отец и мать — фольксдойче[1]. «Какие-нибудь скрытые коммунисты?»

«Обзавелся в Швейцарии дипломом журналиста... Не потому ли, что газета — отличное место для сбора информации?..»

За стенами стихали голоса, шаги, стук дверей. Когда Кляйвист закрыл последнюю страницу, в здании оставались лишь следователь, допрашивающий кинооператора, дежурная команда и в тюремном крыле — заключенные и часовые.

— Шеф, Ленц в приемной, — вернулся наконец адъютант.

— Где вы его нашли?

— В казино. — Цоглих выразительно пощелкал себя по горлу. — Как всегда, «под шафе».

— Один сидел?

— В компании штабных офицеров. Фотографировал их с девицами.

---

[1] Немцы, живущие вне Германии.

— Какое впечатление произвел на него вызов к нам?

— Развлекал меня по дороге анекдотами о гестапо.

— Даже так?.. Благодарю, Цоглих. Вероятно, Эрих уже поужинал. Передайте ему, пожалуйста: скоро он мне понадобится. Пусть подождет в приемной. А этого пригласите.

Задача предстояла трудная: ведь улик никаких. Однако штандартенфюрер не сомневался: если журналист не тот, за кого себя выдает, его не спасут ни вызубренная версия, ни самообладание, ни находчивость.

3. ДОПРОС

Дверь распахнулась, и в кабинет вошел, вернее сказать, ворвался, пожилой жизнерадостный человек. На большеухую круглую голову была щеголевато посажена фуражка с помятой высокой тульей. На плечах болтались шнурки зондерфюрера [1]. Из нагрудного кармана френча торчала орхидея.

Толстяк споткнулся о ковер и, с трудом удержавшись на ногах, выкрикнул:

— Имею честь, господин... господин...

— Штандартенфюрер, — подсказал Кляйвист, поднимаясь ему навстречу.

— Как? — не расслышал вошедший.

— Извините, я в штатском, — поправил Кляйвист галстук. — До сих пор, знаете ли, не могу привыкнуть к форме.

— Какой же вы немец, если не любите формы! — сострил посетитель, но, вспомнив, где находится, убрал цветок и попытался браво расправить плечи со шнурками зондерфюрера вместо погон.

— Виноват, господин... м-м... Не будучи подготовлен к столь лестному приглашению, я имел неосторожность... Vous comprenez [2]. Традиция: в день по два бокала. Первый за нашего фюрера, второй, простите, за себя! Ха-ха-ха! Неплохо, а, господин... м-м...

— Можете называть меня просто господином Кляйвистом, — улыбнулся штандартенфюрер.

Толстяк тотчас сунул ему руку.

— Счастлив познакомиться! Петер Ленц, старый газетный волк.

---

[1] Чин, который присваивался лицам без военного образования, занимавшим офицерские должности, в том числе журналистам.

[2] Понимаете? *(Франц.)*

— Какая у вас поэтическая фамилия[1], — ответил на рукопожатие Кляйвист и показал на стул. — Прошу.

Журналист, однако, стул обошел и плюхнулся в кресло.

— Итак? — воскликнул он, доставая блокнот. Но, тут же спохватившись, спрятал. — Пардон, привычка.

Поведение нового «клиента» настолько выходило за рамки обычного, что штандартенфюрер забыл даже предложить ему закурить — неизменное начало проводимых им допросов. Впрочем, Ленц, не дожидаясь разрешения, вытащил длинную экзотическую трубку в виде китайской пагоды и безмятежно задымил.

Нет, возможно, для человека, доставленного с попойки, он вел себя и естественно.

Но именно это и настораживало: всякая естественность в этом кабинете приобретала в высшей степени неестественный характер. Кляйвист, однако, не спешил с выводами.

Ведь страх нередко заставляет и невиновных изображать наивность и браваду, усиленно подчеркивая всем своим видом, что уж им-то нечего опасаться.

— Признаться, я ожидал увидеть мрачный каземат, а у вас тут прямо глаз не нарадуется! — показал газетчик на мозаичные изображения пляшущих детей.

— В этом здании, — любезно пояснил Кляйвист, — был Дворец пионеров.

— А, так здесь воспитывали юных большевичков?

— Ныне тут «воспитывают» их пап и мам...

«Неужели предчувствие обмануло меня?.. — думал штандартенфюрер, разглядывая посетителя сквозь полуприкрытые веки. — Этот добродушный мясистый нос... Женские ямочки на щеках...»

— Изучаете, похож ли я на преступника? — подмигнул толстяк. — Кстати, я тоже поклонник физиогномики. Знаете, что я вычитал у арабских мудрецов? Если верхняя губа шире нижней...

«Мешки под глазами... Пятна вина на кителе... Типичный прифронтовой газетчик-забулдыга...»

— ...то из этого ротика не жди правды. А когда на подбородке родимое пятно...

«Хотя, если присмотреться, не так уж его лицо заурядно... Эти борозды на лбу... Ранняя седина...»

— А волосы на груди — признак мужества! — со смехом продолжал Ленц. — Вы слыхали, что по этому поводу наши доблестные союзники — самураи — приклеивают себе на грудь парики?

Неумолчная болтовня журналиста раздражала Кляйвиста, мешала настроиться на привычное начало допроса.

---

[1] «Ленц» — по-немецки — «весна».

— Я вижу, вы весельчак... Сразу чувствуется уроженец Баварии[1]: там все балагуры...

— Что верно, то верно! — согласился Ленц. — Если не считать того, что я-то родился в Швейцарии.

— Вот как? — изобразил удивление Кляйвист. — Как же вы очутились в рейхе?

— Переправлен в 1939 году вербовщиками через границу! — гордо отрапортовал толстяк. — Помню, как раз в тот день капитулировала Польша. Черт возьми, не мог же я допустить, чтобы братья по крови завоевали мир без моего участия!

Он перевел взгляд на лежащую перед хозяином кабинета папку и подмигнул с видом сообщника.

— Хотя, к чему я вам все это рассказываю? Вы, поди, знаете обо мне больше, чем я сам!

— Ну, ну, не преувеличивайте нашей осведомленности, — ответил ему начальник СД доброжелательной улыбкой. — Допустим, мы верим, что в Германию вы попали из Швейцарии. Тем более, что такие вещи легко проверяются... Но согласитесь, мой друг, откуда нам знать, что вы родились именно в той стране? — Кляйвист сделал паузу и вкрадчиво добавил: — А не в другой...

— В какой... другой? — встревоженно захлопал ресницами Ленц.

— Ах да, да, извините... — штандартенфюрер перевернул страницу. — У нас ведь есть свидетельство женевского профессора Вильгардта, припомнившего в числе своих лицеистов и вашу фамилию. Так что с вашей биографией все в порядке. — И он демонстративным жестом закрыл досье.

— Как вы сказали?.. Вильгардт? — Журналист поправил воротничок, положил ногу на ногу, потом спустил обе на пол, вытащил зачем-то авторучку из кармана и переложил ее в другой.

— Ну да, профессор Вильгардт, — успокаивающе повторил Кляйвист.

— Такого при мне в женевском Лицée не было, — растерянно сказал Ленц.

— Позвольте, то есть как так не было? — настороженно привстал штандартенфюрер.

Толстяк смущенно развел руками:

— Не было.

— Вы уверены? — принял грозный вид Кляйвист.

— Абсолютно, — виновато ответил Ленц.

«Хм. Оказывается, запутать этого простака не так просто...» — нахмурился штандартенфюрер и, побарабанив пальцами по столу, сел.

— О, прошу прощения! Видимо, тут перепутана фамилия.

[1] Область в Южной Германии.



Нет, он положительно не понимал, что с ним сегодня: допрос с самого начала отклонился от намеченной схемы и шел из рук вон плохо. А этот детский капкан со «свидетельством» несуществующего Вильгардта лишь обнаружил его подозрения.

Ленц, однако, не проявлял ни малейших признаков беспокойства.

— Между прочим, раз уж мы ударились в воспоминания, — с наслаждением задымил он снова. — Кляйвист... Кляйвист... В двадцатые годы, помнится, гремел какой-то ваш ученый однофамилец. Я читал его комментарии к Ницше[1]. Не родственник, случайно?

— Даже больше, — не сразу ответил штандартенфюрер. — Это я.

— Вы?!.

— Да. Философы лишь объясняют мир, тогда как задача в том, чтобы его изменить... — Он чуть усмехнулся. — Я решил воспользоваться этим советом Маркса. Хотя избрал, как видите, противоположный лагерь...

И тут только, встретив внимательный взгляд собеседника, заметил, что уже не он допрашивает газетчика, а, пожалуй, тот его.

— Перейдем, однако, к делу, — взял Кляйвист официальный тон.

— Мне сказали, я могу чем-то помочь вашей конторе? — с готовностью придвинулся к столу подследственный.

— Речь пойдет о званом ужине, устроенном вами по случаю дня рождения, — сурово начал штандартенфюрер, повернув рефлектор настольной лампы так, чтобы тот лучше освещал лицо Ленца.

«Фехтуешь ты неплохо... Но устоишь ли от удара дубиной?..»

— А в чем дело? — заерзал газетчик. Казалось, он только сейчас сообразил, что вызван отнюдь не «для консультации».

— В том, — голос Кляйвиста приобрел металлическую твердость, — что там присутствовал вражеский агент.

— Уф-ф-ф! — с детской непосредственностью обрадовался толстяк. — А у меня прямо душа в пятки! Ну, думаю, ляпнул про фюре... Пардон.

— В результате, — скорбно продолжил штандартенфюрер, — ваш сосед не вернулся с задания... — Он умолк, приготовившись к бурной реакции показного потрясения.

— Рогге? — равнодушно присвистнул Ленц. — То-то он неделю как запропастился куда-то. Ай-яй-яй.

— Итак, меня интересует, — спросил Кляйвист в упор, — кто там у вас терся возле него?..

Ленц прижал кулак к переносице с удрученным видом человека, пытающегося решить заведомо непосильную задачу.

— А черт его знает... Правду сказать, единственно, что сохранила моя память о той вакханалии, — это как я сверзился с крыши.

---

[1] Идеолог культа «сверхчеловека», предтеча фашизма.

— Не только ваша... Кого ни спросишь, все первым делом упоминают о сем красочном эпизоде...

— Еще бы! — потер газетчик лодыжку. — До сих пор прихрамываю.

— Можно подумать, — ласково сказал штандартенфюрер, — что это падение вам затем и понадобилось, чтобы все потом удостоверили: «Ну у этого-то работали не уши, а глотка...»

Но Ленц не понял намека. Или сделал вид, что не понял.

— Одного не пойму, — заметил он, следя за поднимающимися к потолку сизыми спиралями дыма. — Раз мой сосед не вернулся, почем вы знаете, что он наболтал лишнего у меня на пирушке, а не еще где-нибудь?..

— Секрет фирмы. Пожалуй, я мог бы объяснить, да опасаюсь испортить вам настроение.

— А вы не опасайтесь, — подмигнул газетчик. — Это не так просто!

— Ну что ж, слушайте... Дело в том, что Рогге принял ваше приглашение не без задней мысли... Нам нужны были доказательства виновности одного... я пока не называю имен. Было условлено, что через некоторое время за Эрихом зайдет товарищ и, разговаривая в присутствии господина «икс», они упомянут ложный квадрат действия диверсионной группы. Ну, а поскольку именно в том квадрате, как выяснилось, русские и устроили засаду, постольку у нас появились, наконец, достаточные основания пригласить этого господина к нам в СД...

— А как же Рогге? — спокойно, чересчур спокойно спросил Ленц. — Вы ведь сказали, он не вернулся...

— О, просто я хотел сделать вам приятный сюрприз! — рассмеялся Кляйвист. — Его группа была сброшена, разумеется, в ином пункте, где и проделала все, что требовалось.

Он нажал вделанную в стол кнопку, и в дверях показался Рогге, подстриженный и выбритый, в отутюженном черном мундире.

— Заходи, заходи, Эрих. Мы тут как раз о тебе.

— А-а, пресса... — осклабился великан и двинулся к Ленцу. — Что пишут в газетах?

Как показалось Кляйвисту, тяжелые складки на лбу допрашиваемого чуть сблизились.

— Поздравляю, сосед! Говорят, вы разоблачили какого-то шпиона! — устремился к Рогге журналист, доставая блокнот. — Нельзя ли заполучить от вас небольшое интервью? Хотя бы на несколько строк!

— Прошу прощения, господин Ленц! — потеряв на мгновение выдержку, захлопнул его блокнот Кляйвист. — Но вопросы здесь задаю я.

«Да нет же, он совершенно спокоен. С чего я взял?..»

— Но кто он хоть, этот «икс»? — не унимался газетчик. — Подумайте, он был в числе моих гостей!

— Я не спешу огласить его имя, — пустил штандартенфюрер новый пробный шар, — так как не теряю надежды на его добровольное при-

учтите. Выявленный лазутчик для своих уже бесполезен, как выжатый лимон. Единственно, кому он еще может пригодиться, — это бывшему противнику.

— Последний дурень он будет, если упустит такой шанс! — подхватил Ленц. — Лучше уж быть живой свиньей, чем мертвым львом.

— Свиньей?.. Предрассудки. За годы своей службы я перевербовал десятки агентов из «Интеллидженс Сервис» и «Сюртэ Женераль»[1], и, можете мне поверить, никто из них от этого не проиграл.

— Так то цивилизованные люди, а советские — они ж все фанатики, — безнадежно махнул журналист.

Штандартенфюрер резким движением раскрыл досье.

— Вот именно фанатики. Собственно, на что он надеется? Знать, что подпольной организации больше не существует, что в числе арестованных есть и те, кому известно о нем, — и остаться в городе! Это ли не безумие?

— Э, врожденное русское «авось»! — Седоволосый глубоко затянулся. — Хотя, вместе с тем, почему он должен бояться, что его непременно предадут? Возможно, он верит товарищам?..

— Вери-ит? — презрительно протянул штандартенфюрер. — А что такое вера в людей? Слабость духа. Боязнь выйти из сказок нашего детства в реальный мир, лживый и жестокий. Нет, дорогой мой! Истинная сила души — в неверии, гордом одиночестве, не нуждающемся ни в ком. Да, да! Не верить никому, даже единомышленникам — вот в чем мудрость!

Рогге с немым восхищением уставился в рот бывшему доктору философии и права: он тоже хотел быть гордым и мудрым...

— Браво, господин Кляйвист! Вы уложили в сей афоризм самую суть фашизма! — Газетчик выхватил авторучку. — Как хотите, но я должен сделать это достоянием читателей!

— Вы умудрились взять интервью даже здесь... — кисло улыбнулся штандартенфюрер. «Ошибка... Конечно, следовало оставить себе кинооператора, а не этого пьяного болтуна...»

Он позвонил в следственный отдел, но и там не было ничего утешительного: кинооператор возмущался, что его подняли с постели, и отказывался отвечать на вопросы.

Следователь предлагал, учитывая острую обстановку, подвергнуть подозреваемых аресту. Кляйвист и сам уже подумывал об этом. Его, однако, останавливало опасение, что тогда те будут еще осторожнее в своих показаниях и СД рискует так и остаться в неизвестности, где разведчик: за решеткой или преспокойно разгуливает снаружи. Нет, нужно вынудить, заставить врага выдать себя!

— Продолжать! — швырнул он трубку на рычаг.

---

[1] Английская и французская разведки.

Штандартенфюрер снова смочил одеколоном виски, протер очки, надел их, направил свет лампы на Ленца, который, смеясь и тыча в бок хмурого Эриха, рассказывал тому какой-то анекдот, и почувствовал, впервые за последнее время, что не знает, как вести допрос дальше...

— Учитель, а что там за шум во дворе? — подошел Рогге к окну и чуть раздвинул шторы.

Кляйвист взглянул на часы, вделанные в пасть глиняного бегемота, — забавная самоделка бывших хозяев здания.

— Ого, уже полночь!.. Если не ошибаюсь, по расписанию сейчас должны казнить вторую партию подпольщиков.

— Пойти взглянуть, что ли? — сонно уткнулся лбом в стекло молодой эсэсовец.

— Как хочешь, мой мальчик. Ты ведь знаешь, я не выношу подобных зрелищ, — поморщился штандартенфюрер и повернулся, ища сочувствия, к журналисту.

— Как говаривал Нерон, подписывая смертные приговоры, — натянуто улыбнулся тот: — «Какое несчастье, что я умею писать!»

Крики солдат, топот сапог и лязг оружия во дворе как-то неожиданно стихли, и наступила тишина. Напряженная. Долгая. Только слышно было, как мирно накрапывает дождь за черным окном.

Ленц стоял с трубкой в зубах у стены и поглаживал головы мозаичных детей. Казалось, он их успокаивает...

И вдруг костяной дробью по стеклу рассыпались автоматные очереди. Опять. Еще. И — тишина. Оглушительная тишина, в которой отчетливо прозвучал странный хруст.

Кляйвист вскинул глаза на Ленца. Тот по-прежнему механически водил ладонью по стене, стиснув зубами трубку...

Резко прозвенела телефонная трель.

Следователь радостно докладывал, что кинооператор под угрозой пытки признался, что слышал разговор Рогге с Гейнцем.

— Признался? — недоверчиво переспросил Кляйвист.

— Правда, негодяй пока отрицает, что передал сведения русским, но...

Не дослушав, штандартенфюрер нажал рычаг.

— Шеф! — торопливо вошел адъютант. — Бомбер из штаба!

Кляйвист достал из сейфа запечатанную сургучом кожаную папку.

— Передайте и пусть убирается.

Он не выносил штабного курьера. Пройдоха без чести и совести, перебравшийся с передовой на теплое местечко в тылу.

— И не забудьте взять расписку. По всей форме! — бросил он вслед Цоглиху и в тот же момент заметил скользнувший по адъютанту с папкой взгляд журналиста.

— Стойте, Цоглих! — крикнул штандартенфюрер, осененный внезапной идеей,

— Да, шеф? — остановился адъютант.

— Он один?

— Да, на мотоцикле.

— Безобразие! Посылать за такими документами без сопровождающих! Тут не что-нибудь — разработка мер по дезинформации противника!

— Шеф... — показал Цоглих глазами на присутствующих.

— И сургуч плохо положен! Дайте, я сам запечатаю! — с сердитым видом забрал Кляйвист папку и направился было к столу. — Да! Я ведь еще с вами не закончил.

Он подошел к журналисту и положил ему руку на плечо.

— Ну, довольно. Оставим игру в прятки. Наверно, вы и сами уже догадались, что вас тут сегодня проверяли?

Ленц ответил неопределенным жестом. Глаза его были устремлены поверх головы Кляйвиста в сторону окна.

— Вы должны извинить меня и поверить, что у нас не было иного выхода. Унтерштурмфюрер, — кивнул Кляйвист в сторону Рогге, — оказался, увы, далеко не таким осторожным, как я вам расписал. И русские ждали его группу именно там, где следовало. Чудом ему удалось спастись, но одному. Вот и пришлось искать, так сказать, «автора»... — Он спрятал очки в футляр и дружелюбно улыбнулся. — К счастью для вас, им оказались не вы...

— Только что звонил Гринблау, — повернулся он к адъютанту и Рогге. — Ему удалось выбить у кинооператора признание... Завтра, завтра подробности! — прервал он расспросы.

— Ну, он мне ответит за моих парней, — сжал волосатые кулаки Эрих. — Учитель, я вам больше не нужен?

— Нет, нет, иди отдыхай.

— А то нам с ним по дороге, — ободряюще похлопал Рогге газетчика по спине. Он был рад, что русским агентом оказался не его сосед. Для ученика Кляйвиста такая близорукость была бы постыдной.

— А зачем тебе пешком в этакую слякоть? — с непонятным раздражением подтолкнул его к двери штандартенфюрер. — Возьми внизу велосипед — и пулей домой, спать.

— Слушаюсь, — попятился Рогге и, краснея, спросил: — Я только хотел еще... Как Грета?

— Спать, спать! — вытолкнул его из кабинета Кляйвист. — Завтра увидитесь, у нас на музыкальном вечере.

— В моем доме традиция: каждую среду музицируем, — объяснил Ленцу штандартенфюрер, близоруко щурясь виноватыми, подобревшими глазами. — Музы не должны молчать, даже когда гремят пушки, не так ли? Кстати, если и вы неравнодушны к камерной музыке, милости прошу завтра ко мне, Фридрихплац, восемь. Мы с дочерью любим веселых людей.

Седоволосый молча протянул пропуск. Кляйвист расписался.

— Еще раз извините.

Ленц бросил последний взгляд на окно, по которому все громче барабанили дождевые струи, и, не прощаясь, вышел.

Адъютант поднял выпавшую из его кармана орхидею.

— Как бы этот пьяница не принял ваше приглашение всерьез.

Кляйвист задумчиво взял у него цветок.

— Вам показалось, Цоглих, он был абсолютно трезв...

— Значит, все-таки кинооператор? — почтительно подкусил адъютант.

— Не думаю, — неожиданно сказал Кляйвист. — Жалкий трус, который сознается в чем угодно, лишь бы не пытали.

— Так что же, ни тот ни другой? — огорчился Цоглих. — Ну кто мог знать... — добавил он в утешение. — Когда полагаешься на интуицию, предвидеть ничего невозможно...

— Невозможно?.. — думая о чем-то своем, повертел Кляйвист папку. — Вызовите-ка дежурного офицера. И побыстрее. Ибо я предвижу... минут через десять мы услышим неподалеку выстрел...

4. ПАПКА

Массивная дверь тяжело вздохнула, словно нехотя выпуская его, и лицо обожгло колючей влагой. Разведчик козырнул часовым, поднял воротник и, обойдя замерший у подъезда мотоцикл с коляской, зашагал вдоль колоннады бывшего Дворца пионеров.

Из ворот выехала на велосипеде знакомая фигура и, прокричав что-то, исчезла в водяном мареве.

Миновав заколоченное досками здание планетария, он оглянулся. Не видать ни зги. Но, кажется, никого.

Шаги?.. Нет, ветер рвет плакат.

Пройдя еще сотню метров, он снова прислушался. Где-то в стороне проносились машины. Гулко взрывались капли на тугой парусиновой ткани фуражки. Да, никого...

Он переложил пистолет из кобуры в карман шинели и пошел быстрее, почти бегом, спеша выйти к Парковой, наиболее пустынному участку на пути от управления СД к штабу.

Но мотоциклетный треск настиг его раньше.

Место для нападения было более чем неудачное: слева — стадион с зенитной батареей, справа — казарма зенитчиков.

«Меры дезинформации... Ключ к их плану... Рискну...»

Курьер промчался. Сопровождающего в коляске не было.

В ревущей дроби мотора выстрел прозвучал как-то игрушечно и безобидно — словно хлопнула пробка из шампанского.

Мотоцикл налетел на кирпичную стену казармы и перевернулся, бессильно вздрагивая колесом.

Разведчик отбросил неподвижное тело курьера. Нащупал в коляске портфель. И услышал вдруг за спиной и где-то впереди, со всех сторон, топот бегущих и яростный собачий лай.

«Патрули? Откуда тут их столько? И собаки? ..»

Он заметался, неловко прижав портфель к груди. «Окружен!»

Мгновенное — как рефлекс — решение.

Стреляет.

По окнам казармы.

В сторону стадиона.

Кричит, дико, чужим голосом:

— Тревога!

И бегом — прочь. «Из второго слева переулка лай как будто не доносится...» Сворачивает туда.

Но и там навстречу — желтые глаза фонариков.

Подворотня. Падает на плиту. Плашмя. Вжимаясь в нее лицом и животом.

Мимо — железом по булыжнику — сапоги.

Луч обшарил подворотню и, едва не задев лежащего, торопливо унесся дальше, к стадиону, где в ночной неразберихе разгоралась схватка между преследователями и выбегавшими из казармы зенитчиками.

Разведчик сдернул сапоги и в носках, неслышно ступая по лужам, двинулся в противоположную сторону. Пройдя переулок, он бегом пересек пустынную мостовую, тяжело перевалился через низкую ограду парка и, втиснув промокшие, горящие ступни в сапоги, понесся, сокращая расстояние, наискосок, по газонам.

«Квартал был оцеплен. За кем охотились?»

По глазам хлестали дождевые плетки. Намокшая шинель пригибала к земле, ступни вязли в глинистой жиже, каждый шаг отдавался в сердце мучительным эхом.

«Чертова стенокардия... И пятидесяти не стукнуло, а уже...»

Рот жадно хватал свистящий ветер.

«Передохни... Собаки след не возьмут: ливень...»

Нет. Еще шаг. И еще.

«Только не останавливаться! — прыгали вокруг деревья и скамьи. — Только успеть передать!»

Выбежав из парка, он обогнул развалины патронного завода, взорванного неделю назад последней группой подпольщиков, и очутился наконец на тихой немощеной улице, где в густом яблоневом палисаднике стоял одноэтажный домик Шуры.

Разведчик толкнул калитку и остановился. Он не мог больше сделать ни шагу.

— Петер Фридрихович, вы? — прошептали с крыльца. Навстречу ему скользнуло белое платье. — А я уж беспокоиться...

— Шурочка! — прервал Ленц, задыхаясь. — Удача!

— Ой, правда? Тише только! Опять этого Рогге нелегкая принесла. Вот только что лег.

— Да черт с ним! — он расстегнул портфель непослушными в отсыревших перчатках пальцами, вытащил папку. — Это надо в лес, немедля!

— Сейчас оденусь. Ой, Петер Фридрихович! — обрадованно вздохнула она.

Ступеньки крыльца скрипнули, и белая тень исчезла.

Три месяца назад он пришел к этой молчаливой, застенчивой девушке с ордером на вселение (встречи их должны были выглядеть естественно). С тех пор она была единственной цепочкой, связывавшей его с подпольем и партизанами, а через тех — и с Большой землей.

Он вышел на улицу и огляделся.

Все спокойно.

«Черт-те что! Даже не верится! Всегда все с таким трудом, а тут — словно само в руки! .. Но почему был оцеплен квартал? ..»

Ленц сдернул сургуч, раскрыл папку и похолодел: в ней было пусто.

5. ШТАНДАРТЕНФЮРЕР УЛЫБАЕТСЯ

— Шеф, вы слышите? Больше не стреляют. Взят!

— Эрих уехал? Жаль. Пусть полюбовался бы на безобидного соседа. «Нам с ним по дороге». Чуть не сорвал мне все, мальчишка!

— Но, шеф, эта ваша импровизация с Ленцем так неожиданна... Выпустить специально затем, чтобы тот...

— А что оставалось, милый Цоглих? Допрашивать такого зубра бесполезно.

— Ну а если бы ничего не произошло?

— Что ж, тогда я позвонил бы в штаб и извинился, что послал по ошибке не ту папку. Кстати, вот документы. Отправьте их с кем-нибудь из наших.

— Вы говорите: «зубр». Как же он не раскусил?

— Психология, дорогой мой! Поймите его чувства. Потрясение от казни товарищей, жажда отомстить и вдруг — такой шанс. Не мог он его упустить. Конечно, заметь он наши машины... Но они сопровождали мотоцикл по параллельным улицам.

— И к тому же допустить, что ему подставляют под пулю штабного курьера.

— Надеюсь, вы меня за это не осуждаете?.. Негодяй, продающий американцам наши секреты. Он избежал суда лишь потому, что его дядюшка — Кейтель. Но мне его генеалогия безразлична. Я сам вынес ему приговор, и, согласитесь, это даже остроумно: привел в исполнение рукой русского разведчика.

— Но какая счастливая случайность, что вы попали именно на этого «журналиста»! Казалось, он вне подозрений.

— «Казалось»! Сколько вас учить: нет людей «вне подозрений»! В каждом ищите скрытого врага — только так можно добиться чистоты наших рядов. «Случайность»? О, нет, выиграла система!

— Простите, шеф, дежурный звонит. Команда вернулась.

— Трубку. Алло! Что-о?! Да при чем тут зенитчики? Ну, бестия!.. Оповестить все патрули и заставы! Он наверняка сегодня же попытается уйти из города. Цоглих, возьмите несколько человек — и к нему домой. Обыскать все. Проверить домохозяйку. Впрочем, и я с вами! Все равно сегодня не до сна!

6. ЛЕНЦ ЛОЖИТСЯ СПАТЬ

Дождь стих, и сразу засветилось дрожащими капельками звезд небо, густо, сочно пахнуло землей и ночными цветами.

Ничего этого Ленц не замечал. Сгорбившийся, без фуражки, он отрешенно сидел на блестящем, как ртуть, камне, свесив отяжелевшие руки.

За спиной послышалось торопливое чмоканье резиновых сапог.

— Я готова! — подошла Шура, застегивая старенькое пальтишко.

Он сыпал на папку мокрый песок, опрокидывал ее и снова сыпал.

— Петер Фридрихович? — испуганно нагнулась к нему девушка. — Что такое?

— Там нет ничего... Ничего нет...

— Нет... — повторила она, силясь понять, что произошло.

— Меня поймали... — каждое его слово было точно налито свинцом. — На крючок. Как безмозглую рыбешку.

— Поймали... — Шура встрепенулась. — Так что же вы? Бегите!

Фуражка его откатилась в лужу. Девушка подняла ее и, отерев рукавом, нахлобучила ему на лоб.

— Вставайте же! Я вас — до самого леса!

— Бежать... — согласился он, оставаясь недвижимым. — Бежать...

— Встанете вы или нет? — рванула его за плечо Шура. — Приказано ведь: ежели что — сразу уходить! И так всех перехватали!

— Приказано? К черту! — неожиданно взорвался разведчик. — Мне нужен их план, и пока я не добуду его... Пойми ты, я не хочу, не могу, чтобы из-за моей тупости тысячи наших зря...

— Ну вот, — оглянулась она на темные окна дома, — еще этого Рогге разбудим. Да идемте же! — чуть не плача, просила она. — Ну пожалуйста!

Покоряясь, он шагнул за ней. И остановился.

— Рогге... Он ведь тоже был у Кляйвиста, когда прибыл курьер...

— Да быстрей же! Товарищ Ленц!

Разведчик сделал еще несколько шагов. И снова остановился.

— Рогге... Рогге... — лихорадочно повторял он, стараясь ухватить мысль, бившуюся птицей в глубинах сознания.

Шура упрашивала его, с отчаянием тянула за собой — он не слышал ее.

В бешеном водовороте сталкивающихся доводов все ярче проступал план, немыслимо рискованный, сумасшедший. Но единственно возможный.

— Шура! — притянул Ленц ее к себе. — Уже некогда объяснять что, как и почему. Прими пока все на веру. Слушай, ты должна...

Когда он объяснил, что ей предстоит сделать, девушка подумала, что ослышалась. Ленцу пришлось трижды повторить сказанное, прежде чем она убедилась, что слух ее не обманывает.

— Я знаю, — обиженно запротестовала она, — вы это все, чтоб они не подумали на меня, я знаю!

— Да, и это! Но, главное... У меня ведь появился ход в штаб. Возможно, удастся... Но нужно во что бы то ни стало оттянуть арест! Хотя бы на два-три дня!

— Да если я сделаю, что вы требуете, вас же заберут сразу!

Вдалеке послышалось урчанье мотора. Невидимая пока машина быстро приближалась.

Он больно сжал ее кисть грязной перчаткой, поднял портфель с папкой и пошел к дому.

— Нет, Петер Фридрихович! — нагнала она его. — Ни за что!

Он оттолкнул ее и поднялся на крыльцо.

— Нет! — уцепилась она за его шинель. — Нет!

— Хорошо, — вытащил он пистолет. — Спасайся. Буду отстреливаться.

— Дайте хотя бы спрятать это, — сдаваясь, потянулась она за портфелем.

— Не успеешь! — не дал он и перешагнул порог. Но тут же вернулся, опять стиснул ее руку, крепко, изо всей силы. И ушел в дом.

На улице брызнули и потухли яркие конусы фар. Резко скрипнули тормоза. Хлопнули дверцы машины.

Шура сбросила внезапно ослабевшими руками пальто на перила,

взяла мусорное ведро и медленно, чувствуя, как дрожат колени и губы, побрела навстречу сгрудившимся у калитки теням.

— Nicht rühren![1] — услышала она чей-то приглушенный голос, и в грудь ее уткнулось автоматное дуло. — Ни звука!

— Если вы... за господином... Ленцем, — выдавила она, загородив дорожку, — то он... спит.

— Спи-ит? — недоверчиво протянули из темноты.

— Эй, хозяйка! — показалась в окне растрепанная, заспанная голова Ленца. — Ich will trinken![2] Принесьи вода, квас!

— Zum Teufel! — послышался из соседнего окна свирепый рык разбуженного Porre. — Laßt mir noch endlich schlafen, ihr, Säufer![3]

— «Rosamunde, schenk' mir dein Herz...»[4] — промычала голова Ленца и исчезла.

Немцы обрадованно переглянулись: они явно не ожидали застать разведчика в постели.

— Ведите его комната! — приказал высокий однорукий офицер, видимо главный, и двинулся с солдатами за нею.

«Ну, начинай, говори же!» — приказывала девушка себе. И не могла произнести ни слова.

— Иди, иди! — пнули ее.

«Не успела! Опоздала!» — пронеслось в голове.

— Момент! — чья-то сухая рука брезгливо повернула ее подбородок, и Шура увидела над своим плечом холодно глядящие очки. — А почему, любопытно, вы решили, что мы приехали именно за Ленцем?..

Девушка растерялась на миг. Но она хорошо помнила, что Петер Фридрихович предвидел этот вопрос. Он велел ей так их и встречать: «Вы за господином Ленцем?» Они насторожатся: «Откуда она знает?» И тогда...

Дрожь в теле не унималась, но Шура почувствовала, что начинает успокаиваться.

«Значит, я пока не напутала, и все идет как надо... Значит, я и дальше смогу... Только не бояться их... Взять себя в руки...»

— Отвечать! — нетерпеливо блеснул очками низенький. И по его властному тону девушка поняла, что главный он, а не однорукий.

— Потому что... — запинаясь, произнесла она, — господин Ленц, хотя и немец, а занимается негожим.

— Чем же именно?

— Да вот только что... Примчался грязный, сапоги в глине. И как увидел усатого, так...

---

[1] Не двигаться!
[2] Я хочу пить!
[3] К дьяволу! Дайте спать, вы, пьяница!
[4] «Розамунда, подари мне свое сердце...»

— Что за усатого?

— А к нему все какие-то русские дядечки захаживают. Этот — так целый вечер сегодня прождал, во-он в той беседке. А господин Ленц как увидал его — шасть ему чемоданчик! А может, и портфель. Не разглядеть было из окна...

— Портфель? — обменялись взглядами низенький и высокий.

— «Уноси, — говорит, — скорей, пока ко мне с обыском не...» Представляете, немец — и по-русски! Как вы! Да чисто так!

Шура сама понимала, что рассказ ее выглядит не очень-то правдоподобным, но, чувствуя, что немцам сейчас не до расспросов, говорила все смелее и уверенней.

— Ведите! — подтолкнул ее к дому однорукий и расстегнул кобуру.

— Да погодите же! — замахала она руками и, торопясь сказать все, что ей было нужно, зашептала в лицо главному. — Знаете, а тот еще, уходя, велел господину Ленцу на совещание какое-то явиться! «Всех, — говорит, — уцелевших собираем!»

— Уцелевших? — впились в ее руку сильные пальцы.

— Где совещание? Когда?

— А вот этого не разобрала. Чего не слыхала, того не слыхала... «Все! Успела! Сказано! Теперь будь что будет...»

— Heda, Weib! Ich просиль квас! — донеслось снова из окна Ленца. — Wie lange ich noch warte? [1]

«Хочет, чтоб я ушла от них, — сообразила Шура. — Чтоб больше не допытывались».

— Отнести ему? — спросила она немцев.

Те озабоченно перешептывались.

Она двинулась к дому. Две тени из свиты низенького последовали за ней.

— Zurück! — отозвали ее.

— Вы пойдете к нему одна, — сказал главный. — Нас тут не было.

— Так вы не арестуете его? — закусила Шура кулак, чтобы сдержать радостный стон. — Вот жалко!.. С таким жильцом и головы не сне...

— Pst! — зажали ей рот.

— Ночью следить за ним, — приказал ей очкастый. — Будет прятать что-нибудь, запоминайте — где. Соберется уйти — громко окликнете. Мои люди будут неподалеку.

— Неподалеку, да?.. Вот хорошо...

— А завтра к десяти, нет, к девяти, прошу ко мне: Бисмаркштрассе, три. Вас там встретят.

— Встретят, да? — пролепетала она.

[1] Эй, женщина!.. Долго мне ждать?

— Не пугайтесь, это касается не вас, а вашего квартиранта. Ступайте же.

Но едва она отошла, ее снова вернули.

— Возможно, он слышал наши голоса, — буркнул главный. — Скажете: искали уклонившихся от отправки в Германию. В доме напротив. Марш!

Ощущая спиной его недоверчивый взгляд, девушка с нарочитой деловитостью опорожнила ведро в мусорный ящик, повозилась у бочки с дождевой водой, поднялась, гремя связкой ключей, на крыльцо, не спеша закрыла за собой дверь.

И упала на дощатый, пахнущий свежим сеном и мышами пол...

Пока Цоглих с помощником кричали, грохоча дверьми, на перепуганных, ничего не понимающих со сна стариков, живших на другой стороне улицы, Кляйвист расставлял агентов вокруг дома Ленца.

Но когда машина тронулась, штандартенфюрер заколебался.

— Может быть, Цоглих, взять его все-таки сразу?

— Шеф, но мы ведь ничем не рискуем. Наши парни с него глаз не спустят. Пусть, пусть погуляет еще немного, зато наведет нас на...

— Хм, хм, — прервал Кляйвист. — Не верится мне что-то в того «усатого дядечку»... Да и в таинственное совещание каких-то «уцелевших» подпольщиков...

— Однако действительно, — пробормотал он, покачиваясь на мягком кожаном сиденье, — чем мы рискуем?..

Машина уже подъезжала к дому Кляйвиста, когда он неожиданно велел повернуть обратно, за Ленцем.

— Три обстоятельства в этой истории кажутся мне странными, — хмуро сказал он, следя за светящимися стрелками шоферского пульта. — Первое. Эта девица, по моему инстинктивному ощущению, которое, вы знаете, редко меня обманывает, отнюдь не питает к нам симпатии. Но, если она патриотка, зачем ей понадобилось губить товарища?.. Второе. Как бы ни спешил разведчик, он не стал бы передавать документы, не пощупав их предварительно собственными руками. А раз Ленц папку открывал, он не мог не понять, что попал в ловушку... И тогда — это третье и самое странное — совершенно неясно, почему он не попытался бежать, а преспокойно отправился в свою постель?..

— Шеф, а знаете, что следует из вашего анализа? — засмеялся адъютант. — Что журналист... вовсе не разведчик!

— Цоглих, а знаете, что следует из вашего комментария? Что вы, извините, болван! — внезапно рассердился штандартенфюрер. — И вообще, куда вы меня везете? Поворачивайте! Я тоже в конце концов хочу спать!

Машина сделала крутой разворот и понеслась по безлюдным улицам, сквозь строй молчащих домов.

7. ОБЛАВА

Ленц сидел в расстегнутом кителе на подоконнике и брился, щурясь от молочного солнца. Прохладный утренник мерно покачивал перед ним полукруглое дамское зеркальце, подвешенное на носовом платке к распахнутой раме.

— Готово, Петер Фридрихович, — вышла на крыльцо Шура. — Спрятала.

— Перчатку мою вложила? Руками ничего не касалась?

— Все — как велели. — Она отряхнула рукавицы, прополоскала их в луже и, выжав, положила сушиться.

— Смой копоть. Сейчас Рогге вернется.

Она окунула лицо в дождевую бочку и тихо засмеялась в мягкой воде.

— А дедушка-то Елизаров! «Что у нас ночью было! — говорит. — Понаехало гестаповцев — и ну орать: «Где сыновья? Вас-дас в Германию не едут?» А дед им: «Дай срок, приедут!» Они ж все у него в Красной Армии!.. «Выбили, — говорит, — пару стекол: «Дом перепутали» — и укатили».

Ленц улыбнулся, не повернув головы.

— Встань спиной. Могут заметить, что разговариваем.

— Петер Фридрихович, да нет вроде никакой слежки, я смотрела.

— Плохо смотрела.

Он в третий раз намылил идеально выбритые щеки и поправил зеркальце так, чтобы оно отразило горбатый тупик улицы. Час назад там застрял грузовик. Трудно было понять, куда он держал путь: улица дальше спускалась к реке, а мост был за километр отсюда. Солдат-шофер усердно копался в моторе, лазал под кузов, возился с домкратом. Но неисправности, вероятно, оказались серьезнее, чем можно было ожидать по аккуратному виду машины...

— Неужто шофер? — охнула девушка.

— Спокойно. Что ж ты, надеялась, они так и оставят меня, без «почетного караула»? — Он отвязал зеркальце. — Сейчас меня беспокоит другое... Когда тебе велели прийти?

— Уже пора... Ничего, Петер Фридрихович, я им — всё, как мы условились.

— Что толку? Сегодня еще не клюнут: почва не подготовлена.

— Так, может, не явиться? Спрятаться на день-другой?

— Найдут и...

— Ну и пускай.

— Пускай? — Он зло стер ладонью мыльную пену с лица и соскочил на землю. — Болтунов наслушалась? «Умрем за то, умрем за се?» Жертвы без необходимости — на пользу только им. Я тебе дам «пускай»!

— Так а что делать? Скажите.

— Если б я знал... — закрыл он воспаленные от бессонной ночи глаза.

Донесшийся с улицы шум вывел их из задумчивости.

Мимо забора бежали растрепанные женщины и сонные еще ребятишки. Торопливо ковыляли старики. За своими хозяевами неслись с истошным лаем дворняги. А следом, в облаках серой пыли, шли солдаты и полицейские.

Стреляя в воздух, ругаясь по-немецки и по-русски, они выгоняли людей из домов, хватали бегущих, энергично и умело сбивали их в кучи.

— Опять облава! — всплеснула руками Шура.

Удар ноги распахнул калитку. Горбоносый прыщеватый малый с нарукавной свастикой на запыленном бостоновом пиджаке, болтавшемся на нем, как на вешалке, подобострастно козырнул Ленцу.

— Господин дойч, тут жлобы не ховаются? Руссише швайны? Тю! — заметил он Шуру. — Да это та самая, что позавчерась от меня убегла!

— Was ist los? [1] — вбежал в палисадник Рогге, в одних трусах, с полотенцем, перекинутым через бронзовое плечо.

— Виноват, герр дойч! Но так что велено хамов собирать окопы рыть. А ну, подь сюды! — поманил Шуру полицай. — Ужо я тя за волосья оттаскаю, стерва большевицкая! Раус [2], говорю!

Шура метнулась к дому, но Рогге, легко перемахнув через перила крыльца, преградил ей дорогу.

— Порядок есть порядок, — сказал он беззлобно, но строго.

— Ohne Weib ist ein Haus einsam, — улыбнулся стиснутыми губами Ленц. — Lassen wir sie zurükbleiben? — И, срываясь, замахнулся на прыщавого: — Weg! [3]

Втянув голову в плечи, полицай выскочил на улицу.

Шура молча отодвинула унтерштурмфюрера и ушла в дом.

Рогге смерил соседа недовольным взглядом.

— Толстые люди обычно большие добряки...

— Подмечено, — согласился Ленц. — Например, Геринг... — И тут же расцвел в восхищенной улыбке: — Эх, мне бы ваш торс! Я воспринимаю его как выпад в собственный адрес.

— Побольше прыгайте с парашютом. Помогает при ожирении, гы-ы!

— Нет уж, предпочитаю ожирение! — Это было шуткой только отчасти: разведчик панически боялся высоты.

Рогге ткнул его в живот («На этого чудака невозможно сердиться!») и, встав на руки, закукарекал по-тирольски, довольный ледяным утрен-

---

[1] Что случилось?

[2] Выходи!

[3] Без женщины дом пуст. Разрешим ей остаться?.. Прочь!

ним кулачищем и своей нордической красотой, приносившей ему славу еще в гитлерюгенде, на спортивных «празднествах тела».

Ленц собрался было уйти в свою комнату, но остановился, увидев спускающуюся с крыльца Шуру, в пальто, с узелком...

Попрощавшись с ним глазами, девушка вышла на улицу и слилась с толпой угоняемых людей.

— Как видите, она не осмелилась ослушаться, — ухмыльнулся унтерштурмфюрер. — Психология низшей расы.

«Умница! — проводил взглядом Шуру Ленц. — Избежала-таки допроса!»

Шофер испорченного грузовика сосредоточенно исследовал борта: должно быть, и они нуждались в ремонте... Мобилизацией населения на окопные работы он не интересовался. Ему нельзя было отвлекаться...

8. „ЛИЛИ МАРЛЕН“

Комната Ленца была с нарочитой безвкусицей захламлена мебельными монстрами. Он сам подобрал на барахолке каждую деталь своей обстановки: и многоперинное ложе сибарита, и стильные кресла, набранные из разных гарнитуров, и изъеденный молью персидский ковер. Комические потуги на пышность органично дополняли маску разведчика, но это не уменьшало отвращения, которое он испытывал каждый раз, входя в свое жилище.

Достав из допотопного бюро запасной парабеллум, он зарядил его патронами и сунул в пустую кобуру (вчерашний был спрятан на чердаке).

Тщательно проверил содержимое всех ящиков и мусорной корзины. Разбросал по углам газеты и журналы. Живописно расставил повсюду пустые бутылки. Закрыл на крючки окно, вышел в коридор и запер дверь на ключ.

Сегодня обыск был маловероятен: Кляйвист постарается подольше не обнаруживать слежки. Все же Ленц продел на всякий случай в замочную скважину и сквозь дверные щели незаметные в коридорной полутьме ниточки — простой, но испытанный прием выявления тайных визитов.

«Итак, — еще раз обдумал ситуацию разведчик, — Шура помогла отсрочить твой арест и временно вышла из игры... Теперь предстоит самое трудное... Каждый ход должен быть абсолютно точен. Малейшая психологическая ошибка — и кончено... Ох, если б еще не сжимало так сердце...»

Из соседней комнаты доносился веселый свист.

«Ну .. давай!» — сказал себе Ленц, набрал в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и вошел к соседу.

— Полковник Лоуренс[1] принимает?

Просторная комната Рогге, обставленная со спартанской неприхотливостью, была залита солнцем. Сидевший в майке и галифе на столе молодой эсэсовец отложил длинное, на шести страницах, письмо от родителей, изобразил гостеприимный жест — и в дверной косяк, над головой вошедшего, впилась финка — неизменная шутка хозяина.

Ленц присел и схватился за грудь.

— Что мне в вас нравится, сосед, так это сильно развитое чувство юмора.

Посмеявшись, Эрих снова погрузился было в чтение (он нежно любил своих старичков), но гость бесцеремонно оторвал его от этого занятия, потащив к мольберту.

— Ну-ка, ну-ка, покажите ваш очередной шедевр!

Подражая вождю, унтерштурмфюрер увлекался живописью.

— Еще не закончено... — смущенно пробасил он и, немного волнуясь, откинул с рисунка покрывало.

— Как? Опять она? — окинул Ленц взглядом стены, увешанные акварельными и карандашными изображениями миловидной тонколицей девушки в военной гимнастерке. — Браво! У вас губа не дура! — прищелкнул он языком. — Прибрать к рукам единственное чадо начальника! — В голосе его почему-то мелькнуло беспокойство...

— Вы не знаете шефа, — оскорбился Рогге. — Никаких протекций. Провинись перед рейхом родная дочь, он и на нее заведет дело. Честнейший человек. «Около казармы, у больших ворот, — сентиментально замурлыкал он, любуясь портретом, — где фонарь, наверно, свет, как прежде, льет...»

— «Будем опять у этих стен, — с энтузиазмом подхватил гость. — С тобой стоять, Лили Марлен!»

— Кстати о вашем начальнике, — небрежно сказал Ленц. — С чего он все-таки взял, что я мог быть тайной рукой Москвы? Только из-за той вечеринки? — Он обнаружил на тумбочке шоколадку и отправил ее в рот. — М-м-м! Люблю сладкое!.. Или были и другие, столь же нелепые основания?

— А как же! — уклонился от ответа унтерштурмфюрер. — А та мина, в штабном подвале, месяц назад, забыли? Рядом ведь нашли две ваших подметки! Кх-х! — со смехом прицелился он в соседа пальцем.

— Такие оскорбления смывают кровью! — схватился за кобуру Ленц. — Впрочем, я готов удовлетвориться деньгами. Не одолжите сотню, сосед?

— Опять все пропьете? — с презрительным великодушием кинул ему

---

[1] Знаменитый английский разведчик времен первой мировой войны.

хозяин несколько бумажек. — Берите пример с него! — мотнул он головой в сторону угрюмо смотрящего со стены человека с парикмахерскими усиками. — Величайший из трезвенников!

Финка все еще покачивалась над дверью...

— «С тобой, Лили Марлен...»

— «С тобой, моя Марлен!» — послал гость воздушный поцелуй возвышенно закатившему глазки личику на мольберте. — Однако ж и вы отдаете иногда дань Бахусу. Помните, — подмигнул он, — как вы тогда, после шестой стопки, нарисовали карикатуру на гаулейтера?..

Уголь в руке Рогге дернулся и поставил на рисунке жирную точку.

— Да не выдам, не бойтесь! — Ленц придвинулся и многозначительно понизил голос. — Но, надеюсь, и вы в долгу не останетесь? Предупредите, ну, если ваш босс меня вдруг снова...

— Помнится, я показывал карикатуру только Гейнцу... — пристально посмотрел на него эсэсовец. — А вы что... прислушивались к нашему разговору?..

«Клюнуло...» — отметил разведчик.

— Я?.. Н-нет. Вы же сидели с товарищем на другом конце стола. Э! Хватит об этом! — засуетился Ленц. — Я не рассказывал вам новый анекдот о Черчилле?

— Почему же хватит? — закрыл мольберт хозяин. — Может, вы тогда еще что-нибудь интересненькое уловили? А? — сузил он выпуклые голубые глаза.

— Да ей же ей, ничего я не разобрал! — еще больше засуетился Ленц с растерянным видом человека, понявшего, что наговорил лишнего. — Тем более, вы ведь с ним по-русски переговаривались. Тренировались, что ли? А я, к сожалению...

— А вы, к сожалению... — подбросил на ладони и сжал уголь Рогге, — русским не владеете...

Теперь он знал, из-за кого не вернулась его группа: Гейнц, Дитрих, Иозеф, Вилли — верные друзья, готовые за ним в огонь и воду...

«Только бы этот молодчик не вздумал меня тут же арестовать... — думал Ленц, отирая покрывшийся испариной лоб. — Нет, без приказа не решится...»

— Однако пора в редакцию... — поднялся он и застегнул китель.

Унтерштурмфюрер шагнул к двери и облокотился о косяк, поглаживая рукоятку финки.

— Ну-ка, пропустите! — потребовал Ленц. — Редактор статью ждет.

Помедлив, эсэсовец отошел от двери.

Спустившись с крыльца, разведчик оглянулся на окно соседа и, как и ожидал, встретил глаза Рогге.

«Ну что смотришь? Одевайся скорей, беги доложи Кляйвисту, как ты меня уличил. Пошевеливайся!»

— «С тобой, Лили Марлен! — помахал Ленц. — С тобой, моя Марлен».

Когда, подходя к калитке, он обернулся снова, унтерштурмфюрер уже торопливо натягивал мундир...

9. СЛЕЖКА

Остановившись у злополучного грузовика, разведчик попросил у «шофера» огоньку.

— Проклятая машина, господин зондерфюрер! — пожаловался тот, поднося к его трубке зажигалку. — Измучился я с ней!

Ай-яй-яй. А я-то хотел просить подвезти меня до редакции... Ладно, прогуляюсь: дивная погода.

«Теперь уж, голубчик, я узнаю тебя из тысячи...»

Балансируя, Ленц прошел по узкой доске через громадную воронку и свернул в ближайший переулок.

Вслед ему прогудел клаксон.

«А, так ты здесь не один...»

Прохожих было немного. Кто из них?.. Бородатый верзила-власовец? Остроносая дамочка в старомодной шляпке? Лощеный брюнет в румынском мундире?..

С необструганного, видно совсем недавно поставленного, столба слез тощий монтер, прицепил «когти» к поясу и, взвалив на плечо моток провода, пошел в том же направлении, что и Ленц.

Впереди, на перекрестке, целовались, не обращая внимания на окружающих, белобрысый летчик и дебелая девица.

Сзади громыхала подвода. Крестьянин, лениво погоняя своего пегого одра, равнодушно разглядывал дома.

Выйдя на проспект, разведчик вытащил свое заветное зеркальце и стал поправлять фуражку.

Дама и румын исчезли. Подвода еще раньше осталась у ворот рынка. Монтер и бородач неотступно шагали следом. Влюбленные брели попрежнему впереди, поминутно останавливаясь и обмениваясь поцелуями.

«Монтер?..» Но тот вдруг задержался у одного из столбов и полез наверх.

«Бородатый», — решил Ленц и замедлил шаг.

Власовец, как ему показалось, тоже пошел медленней.

Разведчик двинулся быстрее и, внезапно остановившись, стал подтягивать сапог. Бородатый прошел, и Ленц тотчас скрылся в парадной.

В нос ударило едким запахом мочи и затхлой сыростью.

На грязных лестничных ступенях сидел лобастый паренек в тюбетейке и озабоченно слушал кудрявую длинноногую девчонку.

Увидев немецкого офицера, юноша замер, а девчонка быстро спрятала за спину руку, в которой лежал желтый, похожий на мыло, брусок.

«Тол?.. Новички. Связать бы с лесом. Нельзя, ч-черт!..»

— Спекулирен милё? — погрозил Ленц пальцем. — А на улиц-гестапо, поймайт — и пиф-паф. Пониль?.. У-у, юнге аферистен!

Выходя из подъезда, он не выдержал и помахал ребятам, но те уже убегали вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступени.

Власовца на улице не было. Облегченно вздохнув, Ленц пошел дальше и едва не столкнулся с летчиком и девицей, которые быстро возвращались, растерянно озирая улицу. Пропустив его, они прижались друг к другу, уже явно с преувеличенным пылом.

«Однако и ловкачи у этого Кляйвиста!» — чертыхнулся разведчик.

Не знай он, что за ним будут следить, вряд ли пришло бы ему в голову, что эта влюбленная парочка...

Он посмотрел на часы. Через полчаса его должен ждать на площади у редакции один штабной офицер-антифашист. Но удастся ли избавиться от «хвоста»?

У продовольственного магазина вытянулась длинная, на сотни метров, очередь. Суровые изможденные лица. Колючие взгляды.

— Ишь расхаживают, как дома! — доносилось до него.

— Терпение, уважаемые... Наши... то есть «азиатские орды», уже в ста километрах...

— Сдюжат ли? Глянь, сколько тут этих! — сплюнула в его сторону сердитая бабка.

«Сдюжим, бабуся!» — чуть подмигнул ей разведчик.

Старуха испуганно перекрестилась и, решив, что ей померещилось, снова плюнула ему вдогонку.

Из-за поворота показалась нестройная серо-зеленая колонна солдат.

— Отовсюду слетелись мы в стаю!
Мы стремимся в поход на Восток! —

устало пели они, дружно шаркая подошвами по изрытому гусеницами танков асфальту.

По полям, по лугам, через дали к лесам,
За землею — вперед на Восток!

Разведчик перешел на другую сторону проспекта и, едва колонна скрыла его от глаз агентов Кляйвиста, нырнул под арку и промчался проходными дворами на соседнюю улицу. Позади никого не было.

Через несколько минут Ленц уже подходил к площади.

Под грохочущим репродуктором нетерпеливо прохаживался сухощавый лысый офицер. С трудом удерживаясь, чтобы не ускорить шага, раз-

ведчик направился к нему и вдруг каким-то шестым чувством ощутил на своей спине чей-то внимательный взгляд.

Ленц стремительно миновал обескураженного офицера и влетел в здание редакции.

Посмотрев на лестнице в окно, он увидел на площади мужчину солидного профессорского вида. Осталось совершенно непонятным, когда и где тот успел сменить парочку... «Профессор» уселся на скамейку под акацией, вытащил из жестяной коробочки леденец и положил в рот, готовый к терпеливому ожиданию...

«Нет, пока ты у них под таким наблюдением, сделать ничего не удастся, — понял разведчик. — Что ж... заставим Кляйвиста ослабить слежку... Сегодня вечером у него дома должен быть Рогге... Вечером...»

10. ЛЮБИТЕЛИ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

В уютной гостиной небольшого особняка с еще сохранившейся на фасаде табличкой «Городской шахматный клуб» стояла приятная прохладная полутьма: хозяин не любил яркого света. Старинные бра мягко освещали его лицо, умиротворенное домашним покоем.

— Папа! — вбежала Грета.— Это правда? Эрих снова собирается? — прижалась она мокрой щекой к его руке. — Ведь вчера только вернулся!

— Что делать, девочка, — погладил он ее худенькую теплую шею и льняную косичку, туго заплетенную на старогерманский манер. — Обстановка требует от каждого из нас напряжения всех сил. Ну, ну, детка, не расстраивайся, — вытер он дочери глаза. — Я еще подумаю, кого послать.

— Опасаетесь, мои приметы им уже хорошо известны? — расстроился вошедший диверсант. — Проклятый писака... Я еле удержался утром, чтобы не прихлопнуть его на месте!

— Послушай, Эрих, — остро глянул на него штандартенфюрер, — а этот твой утренний разговор с ним... Ты уверен, что правильно понял его слова?

— Я передал вам всё дословно, учитель.

Палец Кляйвиста вычертил на колене большой вопросительный знак.

— Забавно... На допросе он мне показался прекрепким орешком: я не сумел его сбить, я!.. И вдруг ты говоришь с ним, и он так нелепо, помальчишески уличает себя...

— Папа, о ком вы? — заинтересовалась девушка.

— Ефрейтор Грета фон Кляйвист! — шлепнул ее отец.— Зарубите себе на носу: излишнее любопытство не доводит до добра.

— Не доверяет даже дочке! — рассмеялась она и выбежала на звонок в переднюю.

— Уж не считаете ли вы... — побагровел Рогге, — что я... выдумал свой разговор с Ленцем?

— Выдумать не выдумал. Но, может быть, решил слегка прихвастнуть своими следовательскими способностями?.. Ну, ну, не обижайся. Я знаю, ты бы, конечно, не стал...

— Отец, — заглянула в комнату Грета, — часовой говорит: там пришли к тебе. Я разрешила пропустить. Какой-то господин Ленц.

— Ле-енц?! — взревел Рогге.

— О-о! — только и мог произнести штандартенфюрер.

Мужчины вышли в прихожую.

Нежданный гость, напудренный и надушенный, в парадном мундире, уже пристраивал на вешалке свою шинель.

— Какой приятный сюрприз! — опережая Эриха, поспешил к гостю хозяин. — Все же любопытно, чему я обязан честью?

— Как так, чему? — сияя, затряс его руки Ленц. — Вы же меня пригласили! Вечер камерной музыки...

— Ах, вот оно что... Верно, верно. Мы уж было и программу на сегодня облюбовали: трио B-dur Бетховена. Но к величайшему сожалению...

— Понимаете, — вздохнула Грета, — утром у папы была карательная акция против партизан, и нашего пианиста...

— Словом, ему нездоровится, — оборвал Кляйвист.

Ленц извинился и стал медленно натягивать шинель.

— А что, если мне его заменить? — помявшись на пороге, предложил он вдруг.

— Позвольте, вы беретесь исполнить фортепьянную партию с листа?

— Если не возражаете... Признаться, господа, я так истосковался по клавишам... Все бегаешь: интервью, статьи — суета сует.

— Возражаем? — выхватила у него Грета фуражку. — Да мы вас теперь просто не выпустим! Правда, папа?

— Прошу... — радушно улыбаясь, повел его в гостиную хозяин.

«С какой целью он пришел?.. Выкинуть белый флаг?..»

Гость тотчас сел за рояль и пробежал несколько трудных пассажей.

— Господа, рассчитываю на вашу снисходительность к дилетанту. Как было начертано на дверях одного ковбойского бара: «Тапер играет как умеет. Просьба не стрелять!»

— Эрих, ну что ты стоишь? — прибежала из своей комнаты Грета со скрипкой. — Расставляй скорей пюпитры, стулья!

— Надеюсь, — раскрыл гость ноты, — наш единственный слушатель согласится переворачивать мне страницы?

— Идите вы! — буркнул верзила.

— Разумеется, согласится, — мягко сказал хозяин.

— Папа, ну доставай же твою виолончель! — торопила Грета, смазывая канифолью смычок. — Господин Ленц, ведь это мое любимое трио!

. . Вероятно, в этом зрелище было нечто глубоко трогательное: нежная щечка девушки, прижавшаяся к торцу скрипки, благородное чело отца, склоненное над колками виолончели, — два смычка, рождающие в унисон ясную и мудрую бетховенскую мелодию. Но Ленцу почему-то все вспоминалось четверостишие русского поэта, вдохновленное поездкой в Германию:

После пения хозяин
Кормит кроликов умильно,
А по пятницам их режет
Под навесом у стены...

«Какой пианист... — вслушивался Кляйвист в прозрачные, как родниковая вода, фортепьянные трели. — Поразительно...»

— Талантливая страна Швейцария, — процедил он. — Там даже безвестные журналисты музыкальны, как виртуозы...

— Не забывайте о моей нордической крови! — весело объяснил Ленц, но лицо его внезапно посерело и обмякло. — И к тому же виртуозы играют не так... Много лучше.

Сыграли первую часть, дружно издали вздох эстетического сопереживания, в чинном молчании отерли носовыми платочками повлажневшие лица и руки и, уткнувшись в ноты, приступили ко второй.

— Извините, господа! — не выдержал наконец штандартенфюрер. — Но что-то у меня сегодня ни малейшей охоты музицировать.

Рогге сразу же встал и закрыл ноты Ленца.

— Папа, Эрих, да что с вами? — с неохотой отложила скрипку Грета.

— Так, пустяки, устал. Дочка, а ты не угостишь нас кофе? Полагаю, и господин Ленц не откажется от чашечки?

— Ой, ну конечно же нет! — усадила девушка гостя на тахту: он явно ей понравился.

Рогге с грохотом захлопнул крышку рояля.

Укоризненно взглянув на него, Грета убежала на кухню.

— Шеф, я прошу... — гневно сказал Рогге. — Вспомните Вилли, Дитриха...

— Эрих, — остановил его напряженный голос Кляйвиста, — она забыла кофейник...

Унтерштурмфюрер схватил кофейник и вышел.

— Что это с моим соседом? — нахмурился Ленц. — Я чувствую, он сегодня как-то переменился ко мне...

— С чего вы взяли, дорогой мой?.. Или вы кроме физиогномики увлекаетесь еще и телепатией?

— Э! Угадывать чужие мысли подчас легче, нежели собственные.

— Я начинаю вас побаиваться. Быть может, вы знаете, о чем думаю и я?

— Само собой. Вы думаете: «Зачем заявился ко мне этот развязный борзописец?» Угадал?

— Хм... Ну а если бы у меня действительно возник столь неделикатный вопрос, как бы вы на него ответили?

— Я ответил бы, что пришел просить у вас защиты.

— От кого же?

— От вас.

Кляйвист прищурился. «Обнаружил слежку?..»

— Вся редакция знает, что меня вызывали вчера в СД. — Ленц страдальчески схватился за голову. — Все смотрят на меня как на преступника! Обходят, словно я зачумленный!

— Пустое, господин Ленц! Ваши коллеги — у всех у них, видно, рыльце в пушку, если они так боятся нашего ведомства. Но я дам указание, и все образуется.

— Указание? Вы обещаете? — благодарно схватил его руку Ленц и неожиданно скорчился.

— Что с вами, дорогой мой? Вам плохо?

— Рогге... — слабым голосом попросил Ленц вошедшего соседа, — у меня... в шинели... таблетки.

— Я вам не лакей! — отвернулся унтерштурмфюрер.

— Где, где, вы говорите? — поспешил к двери Кляйвист. — В шинели? Я поищу!

Вернулся он заметно взволнованным.

— Что-то я ничего не нашел, господин журналист. Может быть, вы сами поищете?

Гость с трудом распрямился и, цепляясь за мебель, вышел в переднюю.

— Эрих, знаешь, что у него там во внутреннем кармане? — быстро сказал штандартенфюрер. — Удостоверение на имя курьера!

— Ага, еще одна улика!

— Нет, это уже бог знает что! — забегал по гостиной Кляйвист. — Прийти с этим в дом к начальнику СД, где тебя каждую минуту могут арестовать, обыскать!..

— А вы еще сомневались, когда я вам... — подхватил Рогге. — Да он не разведчик, а клинический идиот! Смотрите, сколько улик сразу! Курьер, показания той русской, разговор со мной, а тут еще это!

— М-да, улик действительно много, — согласился штандартенфюрер. И, помолчав, угрюмо добавил: — Даже чересчур...

Он налил воды в стакан и понес в прихожую.

Ленц уже одевался. Поблагодарив, гость взял стакан, но, понюхав, брезгливо отставил.

— Вода? Не пью.

— О, к вам снова вернулось чувство юмора. Значит, стало легче?

— Как же вы не нашли лекарства? Оно всегда у меня здесь, — Ленц опустил таблетки во внутренний карман шинели, извлек оттуда удостоверение и недоуменно уставился на него. — Откуда это у меня?

— Ах, там? — безразлично бросил Кляйвист и остановил взглядом шагнувшего к гостю Эриха. — А я поискал только в наружных. Вы уж извините, не знал...

— Что ж это он вдруг собрался?.. — спросил в пространство Рогге, подкидывая на ладони перчатку толстяка.

— Действительно, господин Ленц! Должно быть, и кофе уже готов...

— Какой там кофе! С моим здоровьем на кладбище ходить, а не в гости. — Ленц рассеянно сунул документ в карман. — Может, на свежем воздухе скорей пройдет.

— Ну, если так, не смею упрашивать, — проводил Кляйвист его к выходу.

— Шеф, надо задержать его! — не мог успокоиться Рогге. — Он, коконечно, понял, что вы видели документ. Скроется!

— Где? У друзей? Но тем лучше. Он же под наблюдением.

— Виноват, перчатки оставил... — вернулся Ленц.

Рогге щелчком отправил перчатку на консоль зеркала.

Штандартенфюрер поднял ее и с несколько преувеличенной любезностью подал газетчику.

— Пардон, а вторую? — посмотрел тот на Рогге.

— Что за нелепые шутки! — передернул плечами Кляйвист. — Отдай, Эрих.

Перчатка, однако, так и не нашлась.

— Да черт с ней! — махнул Ленц. — Господин Кляйвист, так вы позвоните в редакцию, что у СД ко мне никаких претензий?

— Непременно! — снова заверил штандартенфюрер. — Я ведь обещал.

— Ну, раз так, — повеселел журналист, — мерси за приятный вечер! А то дома скучища, перемолвиться не с кем. Хозяйки и той нет...

— Что, предпочла вашему обществу отправку на окопы? — улыбнулся Кляйвист. — СД все знает!

— Предпочла? Да что вы! Пыталась отвертеться, как могла. Не знаете, что ли, этих ленивых славян? Но сосед приказал — и...

— Эрих? — исподлобья взглянул Кляйвист на своего любимца. — Так это ты ее туда загнал?..

— Шеф, но откуда я мог знать, что она вам понадобилась?

— Уходите? — огорчилась прибежавшая с посудой Грета.

— Надеюсь, мы еще встретимся, — поцеловал ей руку Ленц. — Вы очаровательны. Один лишь маленький совет. Мягче касайтесь струн: смычок не пила.

И, помахав фуражкой, он исчез за дверью.

— Держи поднос крепче, Гретхен,— скривил губы Рогге.— Ты принимала сегодня русского большевика.

Испуганно звякнули и задребезжали чашки и блюдца.

— Проклятье! — прорычал молодой эсэсовец. — Долго он еще будет разгуливать на свободе?.. Ну что, что мешает нам взять его?

— Я уже объяснял тебе, — терпеливо сказал Кляйвист. — Нам нужны его связи... — Он отошел в угол и, не оборачиваясь, спросил странно изменившимся тоном: — Унтерштурмфюрер, а почему вы так торопите с его арестом?..

11. ЗВЕЗДЫ ЗА ЗАНАВЕСКОЙ

Дома Ленца встретила Шура.

Агенты Кляйвиста только что вернули ее в город, с трудом разыскав среди тысяч людей, согнанных почти к самой передовой рыть траншеи для защиты «нового порядка». Едва усадив в машину, девушку начали допрашивать, но, сославшись на усталость, она попросила оставить ее в покое. Агентам приказано было обращаться с ней как с ценным осведомителем, поэтому они удовлетворились ее обещанием явиться наутро и «сообщить все главному».

— Правильно! — похвалил Ленц. — Мы успеем отрепетировать, что ты будешь «сообщать» Кляйвисту.

— Идемте ко мне, — устало улыбнулась она разведчику. — Велено опять всю ночь присматривать за вами.

Они уселись за фанерным буфетом, занимавшим добрую треть ее узенькой чистой комнатки, так, чтобы их тени не падали на занавеску.

Сверху доносилось сердитое мяуканье: Шурин кот неутомимо ловил мышей.

— Парабеллум! — вспомнил Ленц. — Не успел выкинуть. На чердаке его найдут при первом же обыске.

— Ну и что? На нем же не написано, что курьера из него...

— Зато это написано на пуле... Надеяться, что они не сохранили ее... Нет, у Кляйвиста народ вышколенный.

— Давайте я попробую вынести куда-нибудь?

— Рискованно. Шпики заметят.

— Ну хоть перепрячем получше.

— Перепрячем?.. — задумался разведчик. — А это мысль... Перенесем-ка мы его в мою комнату, а?..

— Вы что? — ахнула девушка.

Он объяснил.

— Не знаю... — покачала она головой. — Все это — точно на проволоке плясать... Сами предупреждали, какой умный этот Кляйвист. Почему ж, вы думаете, он попадется?

— Долго объяснять Шура. Потом.

— Когда потом? — вдруг рассердилась она. — Я сейчас должна понять. Не умею я — куклой на веревочке! Хочу понять все. Понять!

— Хорошо. — Его руки машинально обшарили карманы, нашли трубку, набили ее табаком, вытащили спичечный коробок. — Шура, знаешь ты, что такое бумеранг?

— Ну оружие такое, австралийцев, я читала. Оно при промахе назад летит, на охотника, да?

— А как ты думаешь, что произойдет, если тот станет швырять бумеранги направо и налево?

— Да уж наверно получит от какого-то по затылку.

— Так вот. Оружие Кляйвиста — подозрительность. Не верит никому. Даже своим. А сомневаться в каждом — то же самое, что бросать бумеранги во все стороны. Кончится тем, что ударит по самим охотникам... Я, кажется, очень путанно объясняю... — Только сейчас он заметил, что сосет незажженную трубку.

— Чудно́... — тихо сказала девушка. — Может, нас с вами завтра... А я и не знаю про вас ничего... Конспирация, я понимаю...

— Петер Фридрихович, — спросила она с неожиданной для нее настойчивостью, — а все-таки как вы стали этим... ну, то есть пошли на такую работу?

Ленц посмотрел ей в глаза. Он понимал, что слова ее вызваны не только любопытством. Ей важно было перед завтрашним испытанием убедиться, что он верит ей так же безгранично, как и она ему.

— Да я и сам не пойму, как меня угораздило... — Он чиркнул спичкой и, снова забыв закурить, стал следить за бегущим по ней огоньком. — Человекус я по натуре мирный. Пианистом мечтал стать... Да все как-то... Из консерватории — в ссылку: «злостная агитация против царя-батюшки»... Всю гражданку — чекистом, в год — по пуле, из-за угла... А потом... Только домой вернешься — то Белокитай, то Испания, то самураи...

Маленькими факелами вспыхивали и гасли спички, обжигая пальцы.

— Как вы держитесь?.. — прошептала Шура. — Быть всю жизнь среди... Видеть, что вытворяют у нас эти, — и жать им лапы... И ходить по своей земле — в этих сапогах...

— Э! — бодро воскликнул он, не глядя на нее. — Пустяки! Привык.

Ему удалось наконец раскурить трубку. Он сделал долгую, яростную затяжку — и затрясся в мучительном кашле, шея его напряглась, лицо налилось синевой.

— Да что это! Отучиться не можете! — отняла у него трубку Шура. — У вас ведь — сердце!

— А традиции? — отдышавшись, сказал он таинственно. — Шпиону положено окутывать себя табачным дымом. Вы что, детективных романов не читаете? — Он озорно рассмеялся и шагнул к окну, взметнув перед собой огромную тень. — Слушай, а видела ты, какие сегодня звезды? Каждая — вот с эту пуговицу! Ей-ей, не вру!

— Петер Фридрихович... — показала Шура на занавеску.

— А, ч-черт! — зло выругался Ленц и вернулся в свой угол.

— Звезды как звезды... — погладила она его руку. — Ничего особенного...

Дом гудел и вздрагивал: через город шла танковая колонна.

— Ничего, Петер Фридрихович, ничего, — горячо, сбивчиво заговорила девушка. — Вот кончится война, эта последняя на свете война, — и вы вернетесь — навсегда, и все будет, как в хорошем театре, и на крылечке вас встретит жена, и она бросится к вам, и обнимет, и скажет...

— Она ничего не скажет, — сгорбились его плечи. — Осколком ее... за микроскопом. В первый день войны...

— А сын? — нагнулась Шура над ним. — У вас ведь сын растет! Помните, вам передали месяц назад: у него в табеле всего два «удовлетворительно»? Всего два — это же просто здорово! Правда?

Самодельный соломенный абажур раскачивался все сильней, то освещая, то пряча в тени опущенный лоб мужчины.

В коридоре послышались приближающиеся к двери тяжелые шаги.

— Рыжий пришел! — растерялась Шура.

— Запритесь! Он не должен видеть нас вместе!

Женщина торопливо задвинула засов.

— Открывай! — затряслась дверная ручка.

— Нет. Я легла уже.

Резкий толчок стокилограммовой массы легко сорвал засов.

Ленц едва успел прижаться к стене.

Шура отшатнулась, но, взглянув на затаившего дыхание товарища, выбежала в коридор, прикрыв за собой дверь.

— Что вы шумите ночью?

— Ты почему не сказала мне во время облавы, что должна быть на допросе? — раздалось в коридоре. — Выставила меня дураком перед шефом.

Разведчик услышал звуки пощечин, сопровождаемые немецкой бранью, и, бешено рванув дверь, не видя перед собой ничего, кроме красных кругов, не сознавая уже, что делает, выскочил за порог с оружием в руках. В ту же секунду страшный удар в пах бросил его на пол...

Когда Ленц очнулся, Шура сидела рядом на полу и плакала.

— Ай да я... — прохрипел он, не в силах поднять раскинутые

руки. — Ну и нервы стали... Холодные об... ли... вания делать... что ли?

— Ушел, — всхлипнула Шура. — Сейчас донесет.

Ленц застонал.

— Так выдать себя... перед самым...

Женщина помогла ему встать.

— Не знаю, Петер Фридрихович, но если я верно поняла про бумеранг ваш... может быть, теперь уже неважно, что скажет на нас этот?..

— Завтра все решит... — держась за ее плечо, выпрямился Ленц.

— Завтра... — всхлипнула женщина.

12. УРАВНЕНИЕ БЕЗ НЕИЗВЕСТНЫХ

— Штандартенфюрер, простите! Вы не легли еще? Это Рогге звонит.

— Что случилось?.. Так. Заперлись? С оружием на тебя?.. Всё?

— Ну да. Разве мало?

— Ты молодец, Эрих! Еще одна улика! Что за молодец!

— Учитель, я хотел их... Но поскольку вы не велите... В общем, что с ними делать? Ваш приказ?

— Извиниться.

— Изви... Трубка шипит. Как вы сказали, шеф?

— Я сказал: если немец вступается за русскую женщину, отсюда еще не следует, что он враг. Возможно, он просто джентльмен. Чего, увы, не скажешь о тебе.

— Не понимаю, шеф... Раньше вы не сомневались в его виновности. А теперь, когда мы располагаем...

— Чем? Твоими сообщениями? А где вещественные доказательства?

— Да хотя бы удостоверение курьера в его шинели!

— Отречется.

— Но тогда и пуля, найденная в теле курьера, не доказательство!

— А кто видел, что стрелял именно Ленц?

— Но кому же еще?

— Ну мало ли... Словом, Эрих, как ни боюсь я спугнуть птичку, откладывать обыск больше нельзя. Завтра же. Как только уйдет в редакцию. Тебе поможет Цоглих.

— Слушаюсь, штандартенфюрер!

— Спокойной ночи... мой мальчик.

— Спокойной ночи... учитель!

...«М-да, уравнение без неизвестных... Ну что ж, обыск решит... Дай-то бог, чтобы завтра... не появились новые улики...»

13. БУМЕРАНГ ЛЕТИТ НАЗАД

Штандартенфюрер вернулся в свой кабинет лишь во второй половине дня. Какие-то негодяи (новая подпольная группа?) умудрились пробраться на станцию и поджечь бензиновые цистерны. Да, в этом дьявольском городе установить порядок можно лишь одним способом: упрятать за решетку все его население.

Узнав, что шеф, наконец, у себя, адъютант поспешил к нему с докладом.

— Что дал обыск? — сразу же перебил Кляйвист.

Довольный, что может порадовать начальника, Цоглих положил перед ним на стол парабеллум.

— Курьер убит из него.

— Невозможно! — вскочил Кляйвист. — Не может быть...

— Вот заключение криминалистической лаборатории.

«Новая улика... Так я и знал...»

— Прошу прощения, шеф, но вы словно огорчены. Вероятно, вы не расслышали? Я говорю, мы с Эрихом нашли в комнате Ленца...

— Я все отлично расслышал. Вы проверили, за ним числится именно этот парабеллум?

— Нет, номер его личного оружия другой. Но то, видимо, в деле не применяется: бутафория.

— Дверь была заперта?

— На два поворота ключа. В замочной скважине я нашел нитку. Но, может быть, она там случайно? Вряд ли он боялся обыска, если держал дома это.

«Нитка?.. Значит, после его ухода в комнату никто не входил...»

— Где найдено оружие?

— На пишущей машинке.

— Я просил все важные находки проверять дактилоскопически. Это сделано?

— Отпечатков пальцев не обнаружено.

— Хм. Владелец оружия так предусмотрителен, что смывает свои отпечатки, и так небрежен, что оставляет его на самом видном месте.

— Правду сказать, меня это тоже удивило.

— Окно было открыто?

— Нет. Но изнутри не заперто.

— Следы на подоконнике?

— Не было.

— Со двора можно дотянуться до пишущей машинки?

— Нет... Ну разве что человеку очень высокого роста.

Штандартенфюрер откинулся на спинку кресла.

— Как, шеф?.. — повертел адъютант парабеллум, словно только сейчас его увидел. — Вы решили... ему это подбросили?

— Как и все прочие улики, — стиснул руки Кляйвист. — Неужели вы не обратили внимания, насколько откровенны они и навязчивы?

— Шеф, не хотите же вы сказать, что Ленц... что его кто-то старается скомпрометировать?

— Но не сам же он нам — на себя!

Цоглих в растерянности потер широкую пролысину.

— Русская?..

— Когда Ленц ушел из дому?

— Около десяти.

— А она у нас?

— С девяти.

— Когда же ей было успеть подложить оружие?

— Действительно... Не при нем же...

— И потом мы ведь решили, что скорей всего это человек высокого роста.

Кляйвист придвинул к себе телефонный аппарат.

— Следственный? Хозяйка Ленца дала показания?

— Молчит, — доложила трубка. — Уперлась, что скажет только одному вам.

— Приведите.

С востока надвигался самолетный гул. Яростно лаяли зенитки.

В кабинет постучали. Цоглих открыл дверь и впустил следователя с Шурой. Воротничок ее платья был разорван, на лице и руках — кровоподтеки.

Кляйвист метнул на следователя недовольный взгляд и подвинул девушке стул.

— Прошу извинить, Васильева, — сказал он по-русски, — что не мог вас принять. Я был занят...

Окно все еще полыхало багровыми отсветами пожара на станции.

— Итак, что вы намеревались мне рассказать?

«Только не смотреть на него, в эти паучьи очки... Не смотреть...»

— А если я... откроюсь, вы... отпустите?

— Не только отпустим, но и щедро наградим. Да вы садитесь.

Шура примостилась на краешке стула.

— Не знаю уж, с чего и начать...

— С того, что произошло в вашем доме той ночью, когда приехали мы.

— Сейчас... Только вспомню... Сейчас...

— Давайте вспоминать вместе. Сначала приехал на велосипеде Рогге. Затем прибежал Ленц и...

— Да нет же! Наоборот. Сперва господин Ленц пришли, а после приехал...

— Короче! — перегнулся к ней через стол штандартенфюрер. — Передавал Ленц портфель подпольщику?

Шура опустила голову.

— Не было этого...

— Лжете! — вдруг закричал Кляйвист, пронзительно, с искаженным от боли лицом. — Лжете! Лжете!

— Не было, — упрямо сказала девушка. — Он пришел выпивши и сразу лег спать. Не было.

Кляйвист отвернулся, налил себе воды. Зубы стучали о стакан.

— Знашит, тогда ви сказаль нам неправда? — приблизился к ней однорукий. — А ви разумейт, что вам за это станет?

Шура вся сжалась.

— Меня заставили...

«Только не бояться их...»

— Кто? — дернул ее за волосы высокий.

— Грозился убить, если выдам...

— Кто? — бархатным голосом спросил следователь и, оглянувшись на спину начальника, всей тяжестью наступил Шуре сапогом на ногу, так, что треснул каблук туфли. — Кто?

«Только не плюнуть в их рожи...»

— Хотел ко мне спрятать... о-о-ох... но я не дала, и он...

— Кто? Кто? Кто?

— Прекратить! — резко повернулся штандартенфюрер. И тихо сказал: — Васильева, я сам назову имя человека, заставившего вас оклеветать вашего жильца. Вам остается лишь кивнуть: да или нет.

«Не смотри на него... В сторону... В потолок... Только не в эти глаза...»

Он назвал имя.

Следователь ошеломленно взглянул на помрачневшего адъютанта.

Она кивнула.

Пальцы штандартенфюрера судорожно сжали край стола.

— Записать все, — сдавленно сказал он следователю. — И... выдать десять марок.

Девушка поправила платье на груди и, прихрамывая, пошла к двери. На пороге она остановилась и заставила себя наконец поднять глаза на мертвенно бледное лицо Кляйвиста.

Следователь отдал честь застывшему в оцепенении начальнику и осторожно прикрыл за собой дверь.

Цоглих механически поставил стул на место, закрыл графин, поправил бумаги на столе и, не выдержав, возразил:

— Но где гарантия, что она сказала правду сейчас, а не тогда?

— Это можно проверить... — глухо, оставаясь в той же позе, сказал Кляйвист. — Она и сейчас подтверждает, что видела в ту ночь портфель. После нашего приезда вынести его уже было невозможно: дом под

круглосуточным наблюдением. Сжечь — тоже: печная труба не дымила. Значит, он все еще там...

— Если история с его передачей действительно выдумка. Но я убежден: переверни мы хоть весь дом, портфеля с папкой там не окажется.

— Зачем же «весь дом»? Возьмите проводника с собакой, дайте ей понюхать что-нибудь из вещей курьера — и вы найдете. Найдете... — повторил Кляйвист с горькой уверенностью.

— Разрешите исполнять? — сухо спросил адъютант и, щелкнув с подчеркнутой официальностью каблуками, покинул кабинет.

А штандартенфюрер достал из стола досье № 1270 и с тяжким вздохом раскрыл коричневую обложку...

14. БУМЕРАНГ ПОРАЖАЕТ ОХОТНИКА

Адъютант вернулся через два часа. С портфелем курьера и пустой кожаной папкой.

Кляйвист слушал молча и внешне с ледяным спокойствием. Только резче обозначились мышцы на впалых щеках.

В приемной послышались веселые голоса, женский смех, звук поцелуя, и в дверь просунулось сияющее личико Греты.

— Папа, можно?

Не дождавшись ответа, девушка вошла, втащив за собой смущенного, упирающегося Рогге.

— Папа! Мы с Эрихом решили сегодня обручиться!

Кляйвист неподвижно смотрел на молодых людей, постукивая ногой по паркету, размеренно, но все сильнее и сильней.

— Пусть он, отправляясь на задание, знает, что, как верная Кримхильда ждала возвращения своего Зигфрида [1], так и я... — звенел счастливый голос Греты: ей очень нравилась эта фраза из последнего фильма.

— Так ты хотел бы лететь к русским сегодня же? — скосил глаза Кляйвист в сторону будущего зятя. — Странное нетерпение... дружок.

— Шеф, отошлите ее, — сказал Цоглих.

— Зачем же? — сурово возразил штандартенфюрер. — Душа закаляется в испытаниях. Надеюсь, она примет все, как подобает функционерке «Союза германских девушек». И моей дочери.

— Папа, да о чем ты?

— Итак, Гретхен, ты желаешь связать свою жизнь с этим бравым

[1] Герои германского эпоса о Нибелунгах.

патриотом, — негромким, ровным голосом начал Кляйвист. – Что ж, ты уже взрослая, решай сама. Но прежде... позволь попросить твоего избранника помочь мне распутать одно дело, над которым я бьюсь уже... — Он смолк: подкативший к горлу комок мешал говорить. – Человек, о котором пойдет речь, оказал рейху немало услуг. Он был удачлив, и никого не удивило, когда он недавно вновь вышел сухим из воды. Вся его группа осталась гнить в земле, там, у врага. А он благополучно вернулся. Так кто же подарил ему жизнь? Судьба?.. А может быть, русские?..

Рогге с Гретой стояли, по-прежнему держась за руки, и с радостным нетерпением ждали, когда Кляйвист закончит.

— Но за подарок надо расплачиваться, не правда ли? И вот, едва очутившись у своих, он узнает — опять удача! — что я отсылаю в штаб важные бумаги. Излишне сообщать, что вскоре портфель курьера оказывается в руках нашего счастливчика. Но документов там нет: это ловушка. Что делать? Как отвести от себя подозрения?.. И он находит остроумный выход. Я занялся как раз одним мелким газетчиком. Улик, правда, маловато, но... Но ведь их можно добавить, не так ли, Эрих?..

Молодой эсэсовец приоткрыл рот, часто замигал.

— И вот этот субъект заставляет хозяйку дома, где живут они с Ленцем, сказать нам, что она видела, как журналист передал портфель подпольщику.

— Хитрец рассчитывал, — вставил Цоглих, — что мы сразу арестуем его соседа.

— Но я этого не сделал, — все быстрее и громче говорил Кляйвист. — И тогда, забеспокоившись, как бы русская не разоблачила его, он отсылает ее на окопные работы, а сам является ко мне с басней, будто Ленц проговорился ему о...

— Учитель... — выдавил Рогге.

— Что все это значит, Эрих? — испуганно прижалась к нему Грета.

— Когда же и сие не помогло, он подкладывает газетчику в шинель документ курьера!

— Шеф!

— ...и доносит, что тот якобы связан с русской!

— Штандартенфюрер!

— ...а когда я говорю, уже проверяя: «Не хватает доказательств, нужен обыск», — подбрасывает ему в окно оружие, из которого застрелил курьера!

— Я?!!

— Оставь, парень, игра проиграна, — показал ему Цоглих портфель с папкой. — Найдены в твоей комнате, в дымоходе.

— Подложены! — взревел унтерштурмфюрер.

— И это? — достал адъютант из портфеля засаленную перчатку.

Рогге взял ее и, посветлев, торжествующе поднял вверх.

— Не моя! Ленца! На ней даже монограмма! Вот оно, доказательство!

Кляйвист разразился язвительным смехом.

— Я вижу, мои уроки не прошли для вас даром. Даже если найдут вашу добычу, и тут вы предусмотрели возможность свалить вину на соседа! Но опять же перестарались. Будь портфель подложен, Ленц оставил бы в нем вашу вещь, а уж никак не свою. Увы, это-то «доказательство», — поднял он выпавшую из руки Эриха перчатку, — и губит вас окончательно!

— Но я клянусь! — рванулся к нему Рогге. — Вы видите, я смотрю вам в глаза и...

— Когда лгут, всегда смотрят только в глаза. — Кляйвист сорвал с Эриха Железный крест. — Изменник! — Крик его сорвался на шепот, горячечный, едва ли не умоляющий. — Ну не молчи же! Постарайся оправдаться! Объясни хотя бы один факт! Пойми, не мог же Ленц нам — сам на себя, не мог!

Рогге закрыл лицо руками.

— Я не знаю, как объяснить... Все свидетельствует против меня... Но... учитель, вы ведь знаете, кто я... Поверьте же мне, а не фактам!

Цоглих заколебался:

— И в самом деле, шеф... Кому же верить, если не таким?

— Поверьте... — простонал Рогге.

— Поверить?— прошипел штандартенфюрер.— Пусть там верят друг другу, у наших врагов! А мы, мы-то знаем, чего стоят люди! В каждом сидит предатель! Любой за свою шкуру продаст и наставника, и родину, и наши великие идеи! Любой! — гневно бросал он в лицо Рогге и Цоглиху. — Любой!

— А ты? — с последней надеждой взглянул Эрих на девушку. — Почему ты молчишь?

Сдержав рыдание, Грета фон Кляйвист высоко подняла голову и вышла из кабинета.

— В следственный! — приказал штандартенфюрер.

Цоглих отобрал у арестованного оружие и повел.

— Хайль Гитлер! — выкрикнул на пороге молодой эсэсовец.

Дверь захлопнулась.

15. СД ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ

Очередной рабочий день начальника N-горóдской «службы безопасности» близился к концу, а он все еще корпел над коричневой папкой. «Что же будет? Если Рогге не оправдается, то его донесению о русском наступлении грош цена...»

Он потянулся к телефону узнать, как идет допрос, но звонок из проходной опередил его.

— Кто? — удивленно переспросил он трубку. — Пропустите.

«И как быть с журналистом? — стиснул он ноющие виски. — Ведь имелись у меня какие-то основания заподозрить его... Падение в песок? Но оно действительно могло быть случайным... Волновался, когда расстреливали подпольщиков? Нервы и страх, как бы не очутиться по ложному обвинению на их месте... Однако лучше все-таки подержать его до признания Эриха за решеткой. На всякий случай...

Не поздоровавшись, Ленц подошел к столу и протянул Кляйвисту сомкнутые кулаки.

— Где ваши наручники?

— Не понял. Что вам угодно?

— Чтобы меня арестовали. — Толстяк был непривычно серьезен.

— Чтобы вас... вас...

— Да! Да! Пусть следствие, тюрьма, но я хочу наконец знать, почему за мной пачками ходят ваши Пинкертоны? Почему, когда я возвращаюсь домой, мои бумаги лежат не так, как я их оставил? Я в чем-то провинился? Или ларчик открывается просто: зачем ловить врагов — куда легче их придумывать!

— Не забывайтесь! — поднялся Кляйвист. — Вы!

Ленц сел.

— Вы, конечно, властны уничтожить меня. Но сделать из себя козла отпущения я не позволю! У меня много друзей! Я пил на брудершафт с самим комендантом!

«Глупец... Все мигом отвернутся...»

— Возможно, меня и не защитят, но что будет шум, — это я вам гарантирую! Пока что я заготовил письма доктору Геббельсу и Канарису, и приятели отправят их тотчас, как только меня...

«Всплывет история с Рогге... Абвер постарается раздуть: «гниль в СД[1]»... И это когда Канарис уговаривает фюрера упразднить наше ведомство... Проклятье!»

Штандартенфюрер вышел из-за стола и, подойдя к журналисту вплотную, впился в него долгим, мучительно долгим взглядом.

Но встретил тупые стеклянные глаза, точь-в-точь как на фотографии в розовом досье.

— Успокойтесь, господин Ленц, — с усилием сказал Кляйвист. — Произошло досадное недоразумение, за которое СД приносит вам свои извинения.

Ленц молча смотрел на протянутую ему худую, подрагивающую, как в ознобе, руку. Его пальцы тоже дрожали...

«И все же я не выпущу тебя из поля зрения, — решил Кляйвист

---

[1] СД и руководимый Канарисом абвер (секретная служба вермахта) соперничали.

после ухода газетчика.— Но стоит ли теперь тратить на него целую группу? Достаточно будет редакционного осведомителя и одного агента...»

Набирая номер оперативной части, он вдруг поймал себя на мысли, что напрасно не воспользовался отпуском.

Штандартенфюрер Вернер фон Кляйвист устал, очень устал...

А разведчик шел к штабу.

Он знал: времени терять нельзя. Не сегодня-завтра Кляйвист оправится от потрясения, и тогда...

У ворот ждала знакомая сухопарая фигура.

Ленц огляделся: нет ли «хвоста»? Но, видимо, шпик (бывший «шофер»), от которого он скрылся еще в парке, был единственным.

Разведчик предъявил часовым корреспондентское удостоверение и прошел следом за офицером в расположение штаба...

Через неделю в город вступили советские войска.

Проходя мимо бесчисленных колонн пленных, бойцы удивлялись, что победа досталась малой кровью. Откуда им было знать, какую роль сыграл в этом седой, задыхающийся при быстрой ходьбе человек?..

Да, Ленцу и Шуре удалось все-таки добыть сведения, нужные советскому командованию.

Впрочем, это уже другая история...

Эмиль Офин

ЛЕЛЬКА ФРОЛОВА



Они встретились однажды вечером близ Вердау в автотуристском лагере, каких немало разбросано по дорогам ГДР к юго-западу от Карл-Маркс-Штадта. Эти кэмпинги очень похожи один на другой — комбинация благоустроенной гостиницы с палаточным городком, где после того как помыл свою машину, можно рядом с ней и переночевать; это и дешевле и часто приятнее: свежий воздух, звезды над головой — романтика...

Богаткин задержался возле своей «победы» — подкачивал воздух в запасное колесо, а немец бродил между машинами, искал, у кого бы прикурить. Так они познакомились и разговорились. Этому способствовали хорошие сигареты, теплый вечер и то обстоятельство, что Богаткин неплохо знал немецкий язык. Сначала беседа, как это водится у автомобилистов, шла о карбюраторах, качестве горючего, марках машин, а когда выяснилось, что Богаткин по профессии врач и живет в Ленинграде, немец воскликнул:

— О! Я два раза видел издали ваш замечательный город, но мне так и не пришлось побывать в нем.

Луна хорошо освещала немца. На вид ему было лет сорок пять, лицо слегка обрюзгшее, острый нос, светлые усы, взгляд холодный, невыразительный. «Вот такими пустыми глазами он, может быть, смотрел из кабины «мессершмитта» на блокадный Ленинград», — подумал Богаткин. И сразу вспомнилась война — смерть, голод, разруха. Толковать об этом, да еще с коммерсантом из ФРГ, не хотелось и, чтобы переменить разговор, Богаткин сказал:

— Я живу не в самом Ленинграде. В Пушкине.

Немец еще более оживился.

— В маленьком городке Пушкине?.. Простите, вы ведь врач. Уж не в больнице ли там работаете?

— Нет. В исследовательском институте. Имею дело, главным образом, с подопытными животными. С кроликами, например.

— С кроликами?.. — Немец как-то странно посмотрел на Богаткина и пробормотал: — Кролики, кролики...

— Ну да, кролики. А что здесь такого? — спросил несколько озадаченный Богаткин.

Наступила пауза.

Край облака наполз на луну, по верхушкам потемневших деревьев прошелся ветер, где-то глухо захлопнулась дверка автомобиля. Лагерь засыпал. Богаткин принялся убирать инструменты в багажник.

И тут немец заговорил:

— Может быть, я больше никогда не встречу русского... Позвольте, я расскажу? Вы поймете. Я хочу рассказать...

Богаткин пожал плечами. Однако раскрыл дверцу «победы».

— У нас есть поговорка — в ногах правды нет. Присядем?

— Благодарю. — Немец уселся рядом с Богаткиным, смял в пальцах окурок и откинулся на спинку сиденья.

— Впервые я попал в Россию, как вы можете догадаться, в военное время. Только, прошу вас, поверьте, что я не был фашистом, эсэсовцем или еще чем-то в таком роде. Я был просто солдатом, которому приказывают стрелять — и он стреляет, приказывают кричать «хайль» — и он кричит. К русским у меня не было ненависти, однако я должен был стрелять в них и идти вперед, потому что боялся получить пулю не только в грудь, но и в спину. Короче, был молод, хотел жить. Конечно, в своих злоключениях я обвинял русских. Но, повторяю, я был молод тогда, а пропаганда... Ну, вы сами, наверное, знаете, какая у нас была пропаганда. Она и не таким, как я, могла вывихнуть мозги...

Немец потер висок, провел ладонью по короткостриженной голове.

— Извините, отвлекся. Я хотел рассказать совсем о другом. Не буду хитрить, я рвался в Ленинград наравне с другими; уж очень богатые трофеи и награды нам обещали, а главное — вбивали в голову: взять Ленинград — значит победить, кончить войну. Но, как всем хорошо известно, застряли мы тогда под самым Ленинградом, в маленьком городке Пушкине. Накрепко застряли и надолго... И опять не стану кривить душой: в то время не жаль мне было ни вырубленных на дрова столетних дубов в дворцовых парках, ни разграбленных и сожженных музеев. Я считал это в порядке вещей: война, каждый хватает что может. Я тоже успел захватить какие-то тарелочки с пастушками и царскими вензелями. Помню, долго таскал их в ранце, пока не перебил половину, а остальные как-то попались на глаза фельдфебелю — ото-

брал. Скотина и грубиян был он, этот фельдфебель, не жалел нашего брата-рядового, а уж тем более русских. Впрочем, жителей в Пушкине почти не было, большинство разбежалось.

В полуразрушенной больнице — мы ее на первых порах заняли под казарму — не оказалось ни одного больного: видно, их заблаговременно эвакуировали. Попалась нам только одна сторожихина дочка, девчонка лет пятнадцати; она осталась из-за кроликов. Ну, в общем, были там подопытные животные. Собак она выпустила, а кроликов решила кормить и охранять. Так и сказала — «вахен». Полоумная какая-то. Черная, как галка, худая, как мальчишка, большеротая, оборванная. Мы её приспособили уборщицей в казарму. Вот уж фельдфебель потешался над ней. Мало того, что по три часа в день приказывал скрести полы, так еще свои подштанники заставлял стирать и обращался к ней не иначе как: «Эй, Лелька, русский свинья!» — и на затрещины не скупился, — словом, помыкал ею как хотел: «Лелька, туда! Лелька, сюда!». А она все терпела, лишь бы ее крольчат не трогали. Ради этих кроликов Лелька на все была готова. Она скармливала им не только свой паек, но еще и у наших солдат выклянчивала жратву, старалась оказывать им всякие услуги — постирать там, заштопать что-нибудь. А однажды даже стащила у фельдфебеля бидончик молока и полкирпича хлеба. Ну, тут уж ей досталось.

Наш фельдфебель был такой: все высматривал, у кого бы что отобрать. Он и этих кроликов давно бы в свой котел пустил, да побоялся: Лелька сразу предупредила всех нас, что им впрыскивали какую-то вакцину... Ну, отхлестал он девчонку по щекам, отругал последними словами, а мне приказал: «Рядовой Лемке, идите и немедленно уничтожьте кроликов! Всех до одного!» Поручение было не очень приятное. И не потому, что жалел девчонку. Я уже сказал, что в те времена никого и ничего не жалел, просто Лелька обитала со своими кроликами в сыром вонючем подвале и лезть туда было противно. Но приказ есть приказ. Я велел Лельке идти впереди меня, и мы отправились.

Под разрушенной больницей был прямо-таки настоящий лабиринт, сводчатые переходы с закоулками и тупиками; сверху каплет, внизу хлюпает, в темных углах навален всякий хлам: ржавые койки, пустые бутылки в корзинах, склянки, прелые тюфяки, поломанные ящики. Я шел и чертыхался. Луч моего фонарика упирался в рваный ватник, который был надет на Лельке. Так мы добрались до ее жилья. Здесь было сухо и дышалось легче. Через окошко под сводом проходил воздух и немного света, у стены стояла застланная койка, рядом больничная тумбочка с осколком зеркала и огарком свечи. Клетка помещалась в дальнем углу подвала. В ней оказалось всего четыре кролика, щуплые такие, худосочные, сбились в угол, уши поприжимали.

— А где же еще? — спрашиваю. — Их ведь было много.

— Умерли, — говорит Лелька и вздыхает. И вдруг она разжимает

маленький кулак, а на ладони тонкое золотое колечко с красным камушком. — Возьми себе, солдат. Не надо стрелять кроликов. — И смотрит на меня своими черными глазами, а ее большой рот так и дергается.

Сколько лет прошло, а до сих пор помню я этот взгляд. Было в нем что-то, от чего мне стало не по себе. И еще помню — злость взяла меня тогда на эту глупую девчонку.

— Ну что тебе в этих кроликах? — спрашиваю. — Ведь война, люди погибают.

На это Лелька мне ничего не ответила. Только сунула мне под нос свое колечко.

— Возьми, возьми, — говорит...

Нет, я не взял кольца, но и кроликов не пощадил. Не мог я ослушаться фельдфебеля — приказ есть приказ. Дал я по клетке автоматную очередь и ушел поскорее, чтобы не видеть черных Лелькиных глаз. Впрочем, их больше никто у нас не видел. На следующий день Лелька исчезла — никаких следов! То ли она к партизанам подалась, то ли еще куда. И убитые четыре кролика исчезли вместе с нею...

Лемке умолк. Он сидел, устремив взгляд вдаль — сквозь ветровое стекло машины на верхушки темных деревьев. Богаткин вынул сигареты. Огонек спички осветил его губы — они были крепко сжаты.

— Два года назад я снова попал в Советский Союз. На этот раз уже как турист. Не буду отвлекаться, говорить о путевых впечатлениях. Замечу только, что русские встречали нас без злобы, но и без особой радости. Видно, похождения моих соотечественников все же сделали свое дело. Однако разговаривали мы с кем хотели, маршрут наш тоже никто не ограничивал. Я выбрал дорогу, по которой уже шел однажды... Стоял теплый пасмурный день, когда мы приблизились по Киевскому шоссе к Ленинграду. На вашей знаменитой обсерватории мы пристроились к экскурсии и провели интересный час. После этого сели в машину, спустились с горы, и тут я увидел на развилке столб с дорожным указателем: «Пушкин — 7 *км*». Не знаю, как это получилось, я даже не посоветовался со своим спутником, просто взял да и повернул руль направо...

Ночевать мы должны были в Ленинграде, там нас ждал номер в гостинице. Но до вечера было еще далеко, а тут — небольшой крюк, всего несколько километров. Погнал я машину в Пушкин, в тот самый городок, где я когда-то мерз, голодал и страдал бесцельно. Говорят, мы, немцы, сентиментальны. Вероятно. Может, поэтому я и разволновался тогда. Надо вам сказать, водитель я неплохой, а здесь дал осечку, да какую! А возможно, туман и мелкий дождик сыграли свою роль. Словом, красный сигнал автоматического шлагбаума я увидел в последнюю минуту и в тот же момент услышал грохот приближающегося поезда. Времени думать не оставалось. Я тормознул на полном ходу. Маши-



ну мою завертело на мокром асфальте, занесло и швырнуло прочь с дороги.

Лемке поежился, криво усмехнулся.

— Так я второй раз потерпел поражение под Ленинградом... Очнулся я на больничной койке. За окном темень, по стеклу барабанит дождь, рядом сидит девушка в белом халате. Она склонилась надо мной, говорит: «Нельзя вам двигаться. Разговаривать тоже нельзя. Лежите спокойно, я сама все скажу. Ваша операция прошла хорошо, утром придет доктор, она расскажет все остальное. Ваш товарищ здоров, отделался царапинами. Он сказал, что вы знаете русский язык. Если вы поняли меня, подайте знак — закройте глаза».

Я закрыл глаза. Сестра говорила еще что-то, но я не разобрал, что именно. Ее голос все удалялся, удалялся куда-то. Я почувствовал укол в руку и забылся окончательно. Потом я опять приходил в себя, но всегда почему-то ночью, а может, вечером или под утро; за окном было темно, на тумбочке горел ночник, а рядом сидела девушка — каждый раз другая. Она запрещала разговаривать, давала глотать маленькие кусочки льда и колола мне руку.

Но вот однажды я открыл глаза и увидел деревья за окном и солнце. Оно освещало овальный флигель дома с полукруглым балконом, который показался мне странно знакомым. Я осторожно втянул в себя воздух и не почувствовал острой боли. Попробовал приподнять голову — это мне удалось. И тут я услышал слова, сказанные на приличном немецком языке:

— Доброе утро. Как вы себя чувствуете?

Женщина присела на табурет рядом. Пока она считала пульс, я рассмотрел ее лицо — смуглое, со строгими черными глазами и большим ненакрашенным ртом. Ей было, может, лет тридцать пять. Я спросил:

— Что со мной, доктор?

Она велела мне молчать, но успокоила, сказав, что самое худое уже позади.

Так я познакомился с хирургом Еленой Дементьевной Фроловой. Эта женщина, можно сказать, вытащила меня с того света. Рулевым колесом повредило мне грудную клетку. В общем, закрытый перелом двух ребер с проникновением в плевру, кровоизлияние в легкое. Я пролежал на операционном столе полтора часа, а на больничной койке мне предстояло лежать что-то около месяца. Я человек небогатый, служу в торговой фирме вояжером, и, естественно, меня беспокоил вопрос, сколько будет стоить лечение. Как же я удивился, когда Елена Дементьевна объяснила мне, что лечение в Советском Союзе ничего не стоит. Так и сказала: «Бесплатно для всех». Я спросил:

— Даже для меня?

— Ну да. А что в этом особенного?

Я не сказал ей, что в этом особенного. Я лежал и смотрел в окно на

освещенный солнцем полукруглый балкон, на котором когда-то Лелька развешивала выстиранное белье фельдфебеля.

— Елена Дементьевна, вы... вы давно служите в этой больнице?

— Очень давно, Альберт Иоганнович. Лежите тихо. Вам еще нельзя много разговаривать.

На следующий день ко мне пустили моего товарища. Он пришел не только проведать меня, но и проститься: его отпуск подходил к концу, и, чтобы не потерять место, надо было возвращаться в Берлин. Между прочим, он сообщил мне еще одну удивительную вещь: мою машину починили, она стоит в гараже автомобильного клуба, и я, когда поправлюсь, смогу поехать на ней домой. Сколько это стоит? Ничего не стоит. Ремонт ради учебной практики произвели дос-а-афов-цы. Это трудное русское слово, но я его, как видите, хорошо запомнил...

Лемке как-то хмуро усмехнулся, попросил у Богаткина сигарету.

— Извините, у меня, конечно, есть свои, но хочется покурить русскую. Табак хороший и название — «Друг»... Да-а... Мне еще долго после операции нельзя было курить. Елена Дементьевна запрещала. Строгая она была. Я ее боялся, вдруг спросит, где я воевал. Но она ничего такого не спрашивала и о себе не рассказывала. Сдержанная, молчаливая. Спрашивать ее о том, где она была во время войны, я не решился, но однажды выбрал момент и завел об этом разговор с медицинской сестрой.

— Наша Елена Дементьевна настоящая героиня. У нее орден есть,— сказала девушка.

И тут я услышал то, что ожидал и чего не ожидал услышать.

В сорок первом году пионерка Леля Фролова укрыла в закоулке больничного подвала двух раненых разведчиков — солдата и офицера Советской Армии. Она боролась за их жизнь — лечила, кормила подопытными кроликами. С риском для жизни таскала лекарства, бинты. Она сумела связаться с партизанами и, когда поставила раненых на ноги, ушла вместе с ними к своим.

Лемке оборвал рассказ, надолго замолчал. Ничто не нарушало тишины спящего туристского лагеря.

— Рассказать Елене Дементьевне о себе я не посмел. Не хватило мужества. Так и уехал... Да ведь сделанного не воротишь. Надо впредь быть умнее. Дайте, пожалуйста, еще сигарету...

Богаткин молча раскрыл коробку, молча чиркнул спичкой. Сам он в это время думал о девчонке Лельке Фроловой, видел ее перед собой в полутьме больничного подвала, в рваном ватнике, худенькую, большеротую, с лихорадочным голодным блеском в черных глазах. И о многом еще подумал тогда Богаткин, но вслух он сказал лишь:

— Да... Впредь надо вам быть умнее.

Вильям Козлов

ПАШКИН САМОЛЕТ

1



В руках у немца большая фарфоровая кружка. Он привез ее из Кёльна. Лоб немца блестит, нос тоже. Он пьет из своей любимой кружки крепкий русский чай и смотрит на Пашку. Глаза у немца голубые, ресницы белые. Редкие светлые волосы зачесаны назад. Ворот мундира расстегнут, оттуда выглядывает кусочек белой рубахи с перламутровой пуговицей и пучок волос. Немец смотрит на Пашку без всякого выражения, и мальчик не знает, о чем он думает.

Пашка пьет чай из чашки с коричневым цветком и отбитым краем. Он старается не смотреть на немца. Глаза его прикованы к надписи на дне чашки: «XX лет РККА». Пашка ждет, когда немец поставит свою кружку и можно будет выйти на улицу. Немец один не любит чай пить, только с Пашей. Мать завтракает отдельно, у печки, за маленьким кухонным столом. На ее худощавом лице играет жаркий отблеск. Мать каждое утро топит русскую печь и варит суп из концентратов и мясных консервов для немца, а для себя с Пашкой сладковатую подмороженную картошку.

Немец немного говорит по-русски. Смешно коверкает слова. С матерью он разговаривает мало, а с Пашкой часто. Вот сейчас он осторожно поставит кружку на стол, вытрет губы большим, сложенным в несколько раз платком и, вздохнув, скажет: «Пафка, ты фольный птица, а я зольдат. Айн, цвайн, три! Пошагаль на работа».

Наверное, немцу надоела война, раз он так говорит. Он уже не молодой, лет под сорок. В брезентовой сумке у него маленький альбом.

Вечерами он достает его, подолгу рассматривает фотографии и вздыхает. У немца остались в Кёльне жена и дети. Младшему, Курту, столько же лет, сколько и Пашке. Это он матери сказал. Пашке как-то и в голову не приходило, что у немцев тоже есть дети.

Пашкин отец и старший брат с первого дня на фронте. И никто не знает, живы ли они. Над столом в большой рамке остались фотографии отца, брата и еще разных близких и дальних родственников. Немец однажды потыкал пальцем в фотографию отца, тот был снят в военной форме, и сказал: «Фатер фоюет протиф нас?»

— На фронте, — сказала мать.

Немец велел убрать фотографию. Мать убрала ее, а другую повесила, где отец снят не в военной форме.

Немцы пришли в село месяц назад. Почти вслед за нашими отступающими частями. Ворвались мотоциклисты и стали палить из автоматов, хотя им никто сопротивления не оказывал. В селе остались женщины, ребятишки да старики. Убили мать Васьки Сыча, бабку Степаниду (ее угораздило в этот момент пойти за водой) и Пимена, колхозного конюха. Два дня постояли мотоциклисты в селе и укатили дальше. Два дня не умолкала стрельба. Немцы воевали с курами и поросятами. Пашка сам видел, как одна курица со страху поднялась выше старой березы и улетела в лес.

Потом пришла другая немецкая часть. Эти немцы вели себя поспокойнее, чувствовалось, что они тут остановились надолго. Во дворе Пашкиного дома разместилась радиостанция. Потом она перекочевала за околицу, поближе к лесу. А один немец так и остался жить у них на квартире. Ровно в час дня он заявлялся обедать. Немец никогда не опаздывал.

Немец, который поселился в Пашкином доме, был ничего. Не орал и не дрался. А вот Сеньке Федорову не повезло. У них остановился унтер-офицер. Высокий и злющий, как черт. Он в первый же день ни за что ни про что ударил Сеньку. Орал на Сенькину мать, заставил ее зарезать теленка. И всего сожрал сам. Пашкин немец тоже любил поесть, но не жадничал. Один раз, когда был в хорошем настроении, дал матери банку мясных консервов и полбуханки черствого хлеба.

Немец поставил кружку на стол, убрал сахар в жестяную коробку, галеты завернул в бумагу и все это спрятал в вещевой мешок. Потом застегнул мундир и, взглянув на часы, сказал:

— Пафка, Москва не есть капут. Пока еще не есть капут.

Голубые глаза немца ничего не выражают. Он уже не смотрит на Пашку. Встает со стула и идет к вешалке. Там на гвозде висит его пилотка и карабин. Надевает пилотку, вешает на плечо карабин дулом вниз — как охотник. Немец рослый и широкоплечий. Скрипят половицы, когда он идет к порогу.

Три дня назад офицер в черном кителе с молниями на петлицах собрал людей у сельсовета и заявил, что Москва захвачена. И еще спросил, есть ли вопросы. Вопросов не было, и сельчане молча разошлись по домам. Наврал офицер — Москва, оказывается, не захвачена. Вальтер, так звали немца, который у Пашки, радист. Он весь день сидит на радиостанции и знает, что творится на белом свете. Надо добежать до Сеньки и сообщить ему, что Москва наша, советская. Всем бы надо об этом рассказать, но Пашке некогда. У него есть одно дело...

— Ура! — негромко сказал Пашка, покосившись на дверь, которую только что прикрыл Вальтер.

— Как там батька, — вздохнула мать. — Под Москвой воевал...

— Не пустит их батя в Москву, — сказал Пашка. — Никто их туда не пустит.

— Дай-то бог...

В печи сварилась похлебка. Вода забурлила, пошла через край чугунка, зашипели угли. Пашка тянет носом вкусный мясной запах, смотрит на мать.

— Эх, тарелочку бы навернуть, — говорит он.

Мать достает чугунок, половником снимает красноватую накипь. Это суп для Вальтера. Он еще до конца не сварился, но Пашка рад и такому. Мать наливает в алюминиевую миску. Суп из консервов с жирными блестками, на дне тарелки виднеется кусочек мяса. Себе мать никогда не нальет. Хотя Вальтер и не заметит. Можно в суп воды плеснуть — и снова чугунок полный. Не хочет мать немецкого супа. А Пашка хочет. Вот уже скоро полгода, как он ни разу досыта не наедался. А брюху все равно чей суп, был бы наваристый.

Пашка, обжигаясь, ест. Мать молча смотрит на него. Отцовский полосатый пиджак висит на ней, как на вешалке. Морщины на ее лице понемногу разглаживаются.

— Плесни еще, — просит Пашка. Мать качает головой: нельзя. Вдруг догадается Вальтер? От немцев все можно ожидать. Вчера унтер-офицер Гюнтер — так, кажется, зовут его — чуть не застрелил Сеньку Федорова. Сенька нашел в траве красную звезду. Когда наши отступали, обронил кто-нибудь. Принес звезду домой и стал любоваться ею, а Гюнтер увидел. Раскричался на все село. Уже хватался за парабеллум, но Вальтер его остановил. Что-то сказал по-немецки, и Гюнтер, забыв про Сеньку, стал орать на Вальтера. Но парабеллум так и не вытащил.

Пашка надел старенький пиджак, незаметно положил в карман бумажный пакет.

— Куда? — спросила мать.

— К обеду буду дома, — сказал Пашка. — Как штык.

— Ох, гляди, бедовая голова, добегаешься!

Пашка задержался на пороге.

— Зачем нам Вальтер про Москву сказал? — спросил он.

И, не дождавшись ответа, вышел в сени. Чуть погодя снова просунул в дверь давно не стриженную голову.

— Я ненавижу всех фашистов. И Вальтера тоже. Немцы ведь все фашисты?

И снова мать ничего не ответила. Она смотрела на пламенеющие угли и думала о муже и о другом сыне. И снова лицо ее стало усталым и морщинистым. Где они сейчас? Живы ли? Ни им письмо не пошлешь, ни от них весточку не получишь. И когда, наконец, они погонят немцев с земли русской...

— Когда?! — вслух спрашивает мать.

— Что «когда?» — говорит Пашка.

— Чтоб к обеду был дома, слышишь?

— Как штык, — говорит Пашка и захлопывает дверь.

2

Над почерневшей пожарной каланчой плывут облака. Они легкие, почти прозрачные и совсем не загораживают солнца. Над поселковым советом вяло полощется немецкий флаг с черным изломанным пауком. У крыльца грузовая машина. На траве сидят и лежат солдаты. Мундиры расстегнуты, рукава закатаны. Пилотки засунуты под ремни. Пашка давно обратил внимание, что немцы почти все светловолосые и рыжие. Черных мало. Солдаты жуют хлеб с маслом и прихлебывают из алюминиевых кружек. В поселковый совет, где обосновалась немецкая комендатура, часто приезжают машины с эсэсовцами. Эти тоже незнакомые, — видно, утром прикатили из города.

Пашка делает крюк, чтобы не проходить мимо солдат. А то, чего доброго, остановят и начнут потешаться. Лопочут что-то по-своему и зубы скалят, будто никогда не видели русских мальчишек. Дня три назад вот так же остановили Пашку и стали с ним разговаривать. По-немецки болтают и ржут как лошади. А потом один, сухопарый такой, протянул кусок хлеба, намазанный чем-то, и велел есть. Пашка откусил кусочек и стал плеваться. А они упали на траву и со смеху катаются. Вот сволочь, этот сухопарый — намазал хлеб солидолом.

Пашка идет вдоль заборов и по привычке барабанит рукой по тонким жердинам. Они поют на разные голоса. За изгородью растет лук, брюква, цветет картофель. А там, где все ушли из дома, ничего не цветет. Трава и сорняки. Мальчишек на улице не видно. Сидят по своим дворам. Неохота нос высовывать на улицу. Пашке хочется забежать на минутку к Сеньке Федорову, но боязно. А вдруг этот Гюнтер дома? Как зыркнет своими глазищами, так мороз по коже. Дай ему волю, всех

бы в деревне перестрелял и перевешал. Ничего, вернутся наши. Пашка никогда не сомневался, что наши вернутся. И все будет по-прежнему. Над поселковым советом снова будет висеть красный флаг с серпом и молотом. И школа откроется. Сейчас там немцы устроили вещевой склад. И по улице можно будет ходить не озираясь. Скорее бы приходили наши. Врут фрицы, что почти всю страну завоевали. Кукиш им под нос. И про Москву наврали. Наша Москва, советская!

Выйдя за околицу, Пашка сворачивает к лесу. Еще одно опасное место впереди: радиостанция. Огромный зеленый грузовик с антеннами стоит под соснами. Рядом большая пятнистая палатка. Возле радиостанции прохаживается часовой. А внутри с наушниками сидит Вальтер и еще три немца. На дню несколько раз приходит Гюнтер. Вот и сейчас слышен его раздраженный скрипучий голос. Он и на своих орет почем зря.

Как только часовой скрывается за палаткой, Пашка благополучно проскальзывает мимо грузовика и углубляется в лес. Теперь можно дышать свободно. Где-где, а в лесу ни одного немца не встретишь. Один раз, правда, в соседнюю деревню приезжали на трех машинах каратели. Несколько дней по лесу рыскали, выслеживали партизан, да никого не нашли. Не только немцы, свои-то партизан не видели. Говорили, что какой-то Сокол орудует в Серебровском районе. Так это шестьдесят километров отсюда. Эх, если бы партизаны были рядом! Пашка с Сенькой облазили весь лес, но ни разу на их след не напали.

По одним только ему заметным ориентирам Пашка пробирается в глубь леса. Солнце желтыми пятнами выстлало усыпанную хвоей землю. Под ногами потрескивают сучки. Боровой мох щекочет пятки. Поют птицы, дятел стучит. Над головой покачиваются вершины огромных деревьев. По кружевному листу папоротника ползет красная, в черных точках божья коровка. Вот она доползла до самого верха, распахнула два маленьких крыла и улетела. Совсем как в мирное время. Издалека доносится знакомый гул. Пашка прикусывает губу: «юнкерсы»! Ползут бомбить наших. Полное брюхо набито бомбами. Каждый день пролетают над селом немецкие самолеты. А вот наших давно не слышно. Фронт отступил, и самолеты не появляются. Противно, когда над головой гудят «юнкерсы». Бомбить не будут, это теперь немецкая территория, а все равно неприятно.

На пути большая муравьиная куча. От нее, словно лучи, разбежались во все стороны узенькие муравьиные дорожки. Муравьи бегают по дорожкам взад-вперед. Пашка присаживается у кучи и наблюдает за насекомыми. Они тащат на себе сосновые иголки, тоненькие сучки, которые в несколько раз длиннее их, мертвых и живых букашек. Муравьям наплевать на войну, у них свои заботы. Пашка чувствует, как муравьи забегали по ногам. Он поднимается с корточек и идет дальше. Пашка не боится муравьиных укусов. Минуту пощиплет — и все.

Лес редеет, сразу становится светлее и солнечнее. Сосны и ели уступают место березам, осинам. Стало больше папоротника. Меж белых стволов виднеется поляна. Пашка останавливается, поднимает с земли толстый сук и три раза стучит по березовому стволу. И замирает, прислушиваясь. Через несколько долгих минут доносятся три глухих ответных удара. Пашка кладет сук на место, улыбается. Ему хочется припустить со всех ног, но он сдерживается и прежним неторопливым шагом выходит на залитую солнцем поляну.

У самой кромки леса стоит самолет. Он замаскирован зелеными ветками. Это истребитель. Винта нет, а с мотора снят кожух. Видны мускулистые пучки проводов и обмотки. Сквозь зелень поблескивает обшивка. У самолета стоит невысокий черноволосый человек. Он голый до пояса. За поясом торчит рукоятка пистолета. Лицо и руки в машинном масле. Человек машет Пашке и тоже улыбается. На траве, возле его ног, лопасти винта и куча других самолетных деталей, инструмент.

Человек перешагивает через разбросанный металл и, заметно хромая, идет навстречу Пашке.

3

Они рядом сидят на траве. Солнце печет нещадно. Обшивка самолета нагрелась, пахнет авиационным клеем и бензином. Пашка одну за другой выкладывает из кармана пупырчатые картофелины. Летчик смотрит на мальчишку. В руках у него ромашка. Летчик вертит цветок в пальцах.

— А шурупы? — спрашивает он.

— Десять картофелин, — говорит Пашка. — И еще что-то есть...

— Без шурупов, Павел Терентьевич, мне крышка.

Летчик без тени насмешки называет Пашку по имени и отчеству. И мальчишка не обижается, он привык. Пашка лезет в потайной карман и вытаскивает сломанную пополам немецкую галету и вывалянный в крошках маленький кусок сухой колбасы. Положив рядом с картошкой галету, подносит колбасу к самому носу и с наслаждением нюхает.

— У Вальтера отхватил... Из Германии или наша?

— Награбили, сволочи, — говорит летчик. — Мне и нужно-то этих шурупов штук двадцать.

— Ешь, — говорит Пашка.

— А ты?

— Я уже... Да ты не гляди на меня. Честное слово, подзакусил. Скажи, дядя Миша, а вот если кто-нибудь ест суп, который варят для немца, это как, плохо?

Для кого? Для немца?

Пашка улыбается и снова запускает руку в другой карман. На ладони с десяток шурупов и винтов с гайками. Летчик бережно пересыпает шурупы в свою ладонь и с удовольствием шевелит пальцем. Он сразу повеселел.

— С этого бы, Павел Терентьевич, и начинал, — говорит он. — А то толкует про какой-то суп... Где наскреб?

— В танке, — отвечает Пашка. — Это который на краю оврага стоит. А башня шагов за двадцать валяется. Вот долбануло!

Летчик закопал в землю картофелины и на этом месте запалил маленький костер. Прогорит костер, и картошка испечется. А пока он разделил поровну галету и колбасу. Пашка в это время обошел самолет вокруг. Там, где появились новые заплатки, останавливался и критически рассматривал их.

Этот истребитель приземлился здесь как раз в тот день, когда наши оставили село. Пашка и Сенька Федоров сидели в покинутой траншее и рассматривали брошенный солдатами станковый пулемет. Он был весь покалечен. Только дуло целое. Они уже собирались вылезти из траншеи, но тут услышали разноголосый самолетный гул над головой. То и дело раздавались неторопливые пулеметные трели. Они казались совсем не страшные там, в небе. Если бы сюда не доносился гул орудий (фронт проходил стороной, километрах в пяти от села) да по проселочной дороге не двигались колонны беженцев и поредевшие воинские части, можно было подумать, что там, высоко в небе, маленькие самолетики затеяли веселую игру. Они смешно гонялись друг за дружкой, делали мертвые петли — совсем как на военном параде в честь Дня авиации. И приглушенные пушечные выстрелы и пулеметная стрельба казались ненастоящими.

Но вот один черный самолет отделился от всех и, все сильнее завывая, пошел наискосок в сторону железнодорожной станции. Он скрылся за вершинами сосен, а немного погодя гулко ухнуло, и в небо поднялся невысокий столб огня и дыма.

— «Мессер» клюнулся! — сказал Сенька.

Забыв про пулемет, ребята с азартом наблюдали за воздушным боем. Хоровод самолетов то удалялся от них, то снова приближался. Вот еще отвалил один самолет. На этот раз наш. Он шел носом прямо в лес, но не упал. Над самыми деревьями вышел из штопора и снова взвился ввысь. Но тут показался из-под крыла дым, и самолет, развернувшись, снова пошел над лесом. Он не упал, а затерялся где-то в деревьях. Пашка и Сенька долго ждали взрыва, но лес стоял молчаливый и тихий.

В этот день они так и не отправились разыскивать самолет.

В село вступили немцы. Не до розысков было. Пашка до сумерек просидел в подполе. Не только его загнала туда автоматная стрельба.

Кошка спасалась от немцев в подполе и петух, неизвестно каким образом попавший сюда. Он, нахохлившись, сидел на кадке из-под огурцов и помалкивал. А во дворе был боевой, первый задира. Петух оказался с головой. Не зря забился в подпол. Четырех куриц подстрелили немцы во дворе.

На следующий день Пашка огородами пробрался к приятелю. Сенька сидел на поленнице дров и ковырял в носу. Одна скула у него стала вдвое больше другой. Глаз заплыл.

— Контузило? — спросил Пашка.

— Фашист проклятый, — сказал Сенька. — Все равно я его не боюсь... Эх, почему мы с тобой не нашли наган или гранату?

— Пойдем в лес?

Пашка не успел ответить: на крыльце показался Гюнтер. Он был в зеленых галифе и майке. На плече полотенце. Сенька мигнул: дескать, отрывайся, покуда цел. Пашка бросился за угол дома, а Сенька пошел к колодцу, поливать фашисту из кружки.

Пашка один отправился в лес. Там часа через полтора и обнаружил самолет. Он был немного помят, хвост покарежен, погнут винт, кое-где лопнула обшивка, но стоял на колесах, как полагается. Летчика было не видно. Пашка решил, что он отправился разыскивать своих. Он вскарабкался на крыло и полез в кабину. Нужно поскорее часы снять. Все равно немцы рано или поздно обнаружат самолет и все сожгут. А часы в самолетах хорошие, у них завод на неделю, и ночью светятся.

Вдруг небо над головой пропало, стало темно. Незнакомый голос громко произнес:

— Попался, мародер?!

Пашке сразу стало весело. Голос-то наш, русский!

— Ты летчик, — сказал он. — Я видел, как тебя вчера сбили.

— А вот и врешь, — сказал летчик, отступая от света. — Никто меня не сбивал. Летел над вашим лесом, гляжу — поляна подходящая... Земляника растет, такая крупная. Дай, думаю, приземлюсь да попробую весенней ягоды.

— Попробовал? — спросил Пашка, разглядывая летчика.

— Отвел душу, — сказал летчик.

Он был молодой, темноволосый, глаза насмешливые. На небритой щеке ссадина, голова перетянута бинтом. Кожаная куртка распахнута, шлем засунут в карман. У колена болтается планшет с зеленой картой.

— Решил, значит, раскурочить моего ястребка? Растащить по кирпичику?

— Все равно немцы бы разломали...

— Много их в деревне?

— Хватает, — сказал Пашка.

Летчика звали Михаилом Абрамовым. Он попросил Пашку нико-

му не говорить, что видел самолет в лесу. Ни матери, ни друзьям. И еще попросил, чтобы Пашка принес ему инструмент, какой найдет дома, и разных винтов и шурупов. Он попробует отремонтировать самолет и улететь к своим. Были бы запчасти, он бы в два дня поставил машину на ноги. А так придется повозиться. Другого выхода нет. Немцы не заметили, где он совершил вынужденную посадку, а в лес ходить они не большие любители.

Каждое утро Пашка приходил к нему. Приносил кое-что поесть, все больше картошку и лук. Летчик сильно отощал, но не унывал. И, ремонтируя машину, напевал: «Что же, ты, моя старушка, приумолкла у окна...» Дальше он, наверное, слов не знал и продолжал мурлыкать мотив. Пашка любил смотреть, как он орудует отверткой и клещами, забравшись почти до половины в мотор.

Один раз, когда они оба работали, на пень вскочил заяц и стал смотреть на них. Одно ухо от любопытства поднялось торчком. Пашка первый заметил зайца.

— Гляди, косой! — прошептал он.

Михаил отвел рукой прядь со лба, посмотрел на зайца. Косой все еще сидел на пне и шевелил ушами. Пашка прикинул, что с этого места его можно достать тяжелыми клещами. Если точно бросить.

— Шарахни в него? — сказал он.

Михаил улыбнулся и покачал головой.

— Это удивительный заяц, — сказал он. — Кругом война, а он, смотри, не дрейфит. Храбрец! Не будем его убивать, ладно, Павел Терентьевич?

— Пусть живет...

Этого зайца Михаилу хватило бы на три дня. И вот пожалел. А потом, хоть заяц и близко сидел, можно было и промахнуться.

На другой день Пашка принес Михаилу курицу. Он прикончил ее в чужом огороде. Пашка рассудил так: эта курица теперь не наша. Хоть она и живет у кого-то во дворе, ее в любой момент может немец сожрать. Пусть лучше курицу съест летчик. Курицу они съели вдвоем. Летчик соорудил вертел, и они изжарили курицу на костре. Вкусная получилась курица. Уже сколько дней прошло, а до сих пор приятно вспомнить про эту курицу.

Недавно Михаил сказал Пашке, что работы осталось на два дня. Там, где обшивку прихватил огонь, он поставил брезент. Без шурупов брезент не хотел держаться. Шурупов нужно было очень много. Пашка бродил по окрестностям и отвинчивал отверткой разные детали и винты с покалеченных танков, автомашин.

Пашке очень хотелось, чтобы Михаил поскорее починил самолет. И немного грустно было: улетит Михаил на своем залатанном истребителе, а он, Пашка, останется один. И не нужно ему будет больше приходить в лес, не нужно разыскивать детали и шурупы.

Как-то Пашка спросил Михаила:

— А двоих твой самолет подымет?

Михаил воткнул отвертку в землю, присел на почерневший пень.

— В тылу тоже не сладко... Ну, а мать твоя что скажет?

— У тебя и места-то нет, — сказал Пашка. — Один еле влезаешь.

— На крыло посажу... Не помрешь со страху?

— Мамку жалко, — сказал Пашка. — А их все равно скоро прогонят. Скоро, дядя Миша?

— Прогонят, — ответил Михаил. — Побегут, Павел Терентьевич, только пятки засверкают.

Пашка посмотрел на Михаила.

Щеки его заросли черной щетиной, от ссадины остался припухлый красноватый шрам. Повязку он недавно снял, и на лбу тоже заживал рубец. Стукнулся головой при посадке. Только нога не проходила. Он все еще хромал.

В этот день они долго задержались у самолета. Михаил работал не разгибая спины. Пашка помогал ему. Подавал инструмент, детали, которые летчик, протерев промасленной тряпкой, привинчивал на место.

В лесу тихо. Солнце клонилось к закату. Не слышно птиц. Даже дятел, лесной работяга, не стучит своим железным носом по стволу. Длинные тени от деревьев перечеркнули поляну. Пашка дня три собирал сушняк. Вон какой ворох сложил под сосной. Михаил, прихрамывая, измерил расчищенную площадку. По тому, как он шевелил губами, что-то подсчитывая, и хмурил брови, Пашка понял, что площадка маловата. Дальше идет лес. Деревья не будешь спиливать. Но зато там, где самолет должен разбежаться, площадка хоть куда — ни единого камня или пня.

— Взлечу, черт побери! — сказал Михаил.

Выходя из леса, Пашка встретил Вальтера и Гюнтера. Он хотел было свернуть с тропинки, но было поздно. Гюнтер что-то сказал Вальтеру по-немецки и остановился, загораживая Пашке дорогу.

— Пафка, — спросил Вальтер, — ты где ходиль?

Пашка молчал. Он смотрел на Гюнтера, и мурашки ходили по его спине. Длинный Гюнтер стоял на дороге, широко расставив ноги в сапогах с короткими широкими голенищами. Из желтой кобуры, сдвинутой к животу, торчала коричневая рукоятка парабеллума. Белые пуговицы на мундире матово сияли. Гюнтер что-то прокаркал по-немецки и нетерпеливо шевельнул плечом.

— Тебя мать посылаль... как это... в другой деревня?

Пашка кивнул головой. Глаза у Гюнтера светлые, а ресницы белые и короткие. Нос большой и горбатый.

Вальтер по-немецки стал говорить Гюнтеру. Он два раза произнес Пашкино имя. Гюнтер отвернулся от Пашки и с усмешкой стал отвечать Вальтеру.

— Пошел вон! — резко сказал Вальтер Пашке.

Пашка отпрянул в сторону и побежал к околице. Рукой он прижимал к груди кожаный шлем с наушниками, который ему подарил Михаил.

4

Пашка нервничал. Ерзая на табуретке, он смотрел, как пьет чай Вальтер и ругал про себя немца. Не может побыстрее, тянет из своей паршивой кружки в час по чайной ложке. Свой чай Пашка давно выпил и теперь вертел пустую чашку в руках и ждал, когда кончит чаепитие Вальтер. Но немец не спешил. Он никогда не спешил. Звучно прихлебывая, смотрел мимо Пашки в угол. Глаза Вальтера ничего не выражали.

«А вдруг без меня улетит? — подумал Пашка. — Даже не попрощаемся...»

Вчера вечером Миша сказал, что он сделал все, что мог. Если мотор заведется, то он попытается взлететь с этого чайного блюдечка, как он назвал расчищенную площадку. Конечно, хорошо бы попробовать мотор. Но испытывать двигатель в трех шагах от немцев — это значит крикнуть: «Я здесь. Хватайте меня!» Если мотор заведется, — не медля ни секунды взлетать. Лишь бы оторваться от земли, а там... небо. Миша ходил вокруг самолета, не веря, что все сделано. Истребитель стал пятнистый, как олень. На хвосте и боках зеленели брезентовые заплатки.

Честно говоря, Пашке не верилось, что ястребок взлетит. Уж очень он жалко выглядел.

И обросший черной бородой Михаил больше походил на лесного бродягу, чем на летчика. Синие галифе его во многих местах продырявились, кожаная куртка ободралась, лишь желтая планшетка с картой была как новенькая. Вчера вечером Михаил зачем-то надел ее через плечо.

Вальтер убрал продукты, стряхнул крошки с брюк. Пашка вскочил было из-за стола, но Вальтер еще не встал. И Пашка, хотя немец ему ничего и не сказал, сел на место. Солнце заглядывало в окно, и нос Вальтера блестел. Фарфоровая кружка тоже блестела. На ее сияющем боку виднелась стершаяся надпись на чужом языке.

— Пафка, — сказал Вальтер, — фойна это плёхо. Фойна это не игрушка. Зачем ты играешь ф фойну?

«Неужто пронюхали?!» — испугался Пашка. Но потом сообразил, что если бы немцы узнали про самолет, то Вальтер с ним так бы не разго-

варивал. И вообще они не дома за столом бы разговаривали, а в другом месте. И разговаривал бы с ним сам Гюнтер.

— Я не играю, — сказал Пашка.

Мать бросила очищенную картофелину в чугун и хмуро посмотрела на сына. Она тоже подозревала что-то.

— Не ходи ты в лес, — сказал Вальтер. — Там есть партизан.

«Ладно, ладно, — подумал Пашка, — кончай разговоры и уматывай!» А вслух сказал:

— Какие там партизаны... У нас даже медведей нет.

— Маленький мальшик в лес незачем ходить. Сидеть дома.

Вальтер снял с гвоздя пилотку, карабин и, погрозив Пашке пальцем, ушел.

Немного подождав, Пашка поднялся из-за стола. В дверях встала мать.

— Сиди дома, — сказала она. — Неча судьбу пытать. Слышал, что он толковал? Хочешь, чтобы на первой березе повесили? Им это раз плюнуть.

Пашка плаксиво сморщился:

— Не видишь, у человека брюхо схватило? На двор хочу!

Мать отступила от двери, и Пашка пулей выскочил за порог. Чувствуя, что за ним наблюдает мать, он действительно мимо грядок пошел к уборной. И там притих возле щели. Как только мать прикрыла за собой дверь в избу, он вышел из уборной и по огородам двинулся к лесу. Пашка решил сделать большой крюк, чтобы не проходить мимо радиостанции. Он вышел к речке и пошел вдоль берега совсем в другую сторону. И как только антенна радиостанции скрылась из глаз, напрямик через луг побежал к лесу. Ему казалось, что самолет вот-вот зарокочет и поднимется в воздух. А расставаться с Мишей, не попрощавшись, было очень обидно. И потом, он нес еду. Вчера вечером Пашка решился на крайность: развязал мешок Вальтера и взял оттуда банку консервов и пачку галет. Кажется, пока обошлось. Не обнаружил Вальтер пропажу. А позже может хватиться. Он всегда с вечера отдавал матери продукты.

Но до вечера еще далеко, и Пашке не хотелось думать об этом. В лесу ждет Миша. Удивляется: почему Павла Терентьевича все нет и нет? Чудак этот Миша, называет Пашку по имени и отчеству. И серьезный при этом, даже не улыбнется. Пускай зовет, если нравится, Пашке все равно.

Пашка не заметил, как с быстрого шага перешел на бег. Скрываясь в кустарнике, за которым начинался сосновый бор, он наконец свободно вздохнул:

«Проскочил!»

5

Пашка наколол ногу. Маленький острый сучок впился в ступню. Присев на седой колючий мох, Пашка стал вытаскивать занозу. И вдруг он услышал какую-то возню в ближних кустах и приглушенный говор. Немцы!

Пашка упал грудью на мох и пополз. Он ожидал оглушительных выстрелов сзади, криков «хальт!», но лес за спиной молчал. Мох царапал подбородок, сосновые иголки залезали под рубаху, а Пашка, стиснув зубы, полз и полз. Один раз ему показалось, что позади треснула ветка. Пашка боялся оглянуться, иногда у него возникало такое ощущение, что сейчас вот-вот наступят ему на пятку тяжелым солдатским сапогом. Сердце бухало на весь лес. Оно толкалось в уши, кончики пальцев рук и ног. Пашке нужно было доползти до толстой сосны, а там он нырнет в заросли ольшаника и скроется. Там бурелом, и его никто не догонит. Добравшись до сосны, Пашка вскочил на ноги и во весь дух бросился бежать по лесу. Он петлял между толстых стволов, с разгона влетал в колючий разлапистый ельник. Он слышал, как треснула рубаха. Ветви хлестали по лицу, царапались, но он не ощущал боли.

Уже совсем недалеко от лесной поляны, где стоял самолет, Пашка на секунду остановился: погони нет. Только заяц мог бы поспеть за ним. Или волк. Там, где он проскочил через бурелом и завалы, непривычному человеку так быстро не пробраться. И потом, никто так хорошо не знал этот лес, как Пашка. Разве что еще Сенька Федоров. Кто же возился в кустах? Не медведь же? Медведи не умеют разговаривать по-немецки.

Выскочив на опушку, Пашка не стал стучать палкой по стволу. Он увидел самолет и Мишу, который в застегнутой куртке стоял у крыла и смотрел на него. Пашка ничего не успел сказать, Миша и так сразу все понял. Он скребнул пальцами по бороде и полез в кабину. Планшет болтался в ногах, мешал ему. Пашке казалось, что он очень долго забирается.

— Немцы! — хрипло крикнул Пашка. — Близко!

— Отойди от винта, — сказал летчик. — Эх, мать родная, была не была!

Лицо у Миши бледное, губы крепко сжаты, глаза блестят. Он что-то делал руками в кабине. И вот Пашка увидел, как лопасти винта дрогнули, пошевелились. Тоненько, со свистом запел стартер, лопасти дернулись и остановились. Миша что-то проговорил сквозь сжатые зубы, Пашка не расслышал. Еще раз лопасти дернулись и замерли. И лишь на третий раз винт закрутился. Все быстрее и быстрее. И вот уже ничего не слышно и не видно, кроме раскатистого рева и радужного диска вращающегося винта. Волосы на Пашкиной голове встали торчком.

В лицо саданул ветер. Миша что-то кричал и показывал рукой на конец площадки. Пашка ничего не понимал. Прошел страх, и он стоял счастливый и смотрел, как самолет, покачивая латаными крыльями, покатил к краю поляны. Пашка бежал на почтительном расстоянии и улыбался. А Миша все продолжал что-то кричать и показывать куда-то рукой. И лицо у него было отчаянное. «Вот чудак, — думал Пашка. — Должен ведь знать, что от мотора ничего не слышно, а еще летчик!» Но ему не хотелось огорчать Мишу, и он кивал ему головой: дескать, все в порядке, полный вперед!

Истребитель развернулся. Хвостом он почти упирался в ствол огромной ели. Перед ним взлетная площадка. Сейчас Миша даст газ до отказа и самолет помчится. Только бы не зацепил Миша крылом или колесами о макушку сосны, которая возвышалась на другом конце площадки. А за сосной лес. Если проскочит над сосной, лес не страшен ему. Об этом они толковали вчера.

Миша почему-то не давал газ. Он больше не кричал, а смотрел на Пашку, и глаза у него были странные. Будто он вдруг раздумал взлетать. Миша с высоты своего сидения видел то, чего не видел Пашка. Миша видел, как к поляне продирались сквозь кусты немецкие автоматчики. Он насчитал их больше десяти.

И лишь когда Миша вытащил пистолет, Пашка сообразил, в чем дело. Он еще не видел немцев, они были у того дерева, по которому он бил палкой, предупреждая летчика о своем приходе. Понял Пашка, почему Миша медлит. И понял, что дорогá каждая секунда. И тогда Пашка подбежал к самому крылу и закричал:

— Улетай! Быстрее улетай!

Миша тоже ничего не слышал. Когда крутится пропеллер, никто ничего не слышит.

Показались немцы. Они выскочили на поляну и остановились, вытаращив глаза на самолет, и тут Миша хлестнул навстречу им из крупнокалиберного пулемета. Пашка видел, как посыпались на землю сучья и куски коры. Самолет ударил не по немцам, а по деревьям. Наклон крыла не позволял стрелять иначе. Немцы не побежали к самолету. Они разделились на две маленькие группы и лесом пошли в обход. Немцы не знали, что пулемет может бить только по деревьям.

Когда первая пулеметная очередь прогремела у Пашки над ухом, он бросился в сторону. Пашка не видел, что Миша, перегнувшись через борт кабины, протягивает ему руку. И лишь увидев, что мальчишка скрылся в лесу, Миша тронул машину с места. Когда раздались автоматные очереди, самолет был уже на середине поля.

Миша не зацепил за сосну. Он был хороший летчик. Взлетев, он сделал вираж и снова показался над поляной. Он видел огненные вспышки автоматных очередей. Слышал, как дробно защелкали по фюзеляжу пули. Миша искал в лесу знакомую рубашку Пашки, но маль-

чика даже с такой высоты было не видно. Зато Миша видел, как в ту сторону, куда побежал Пашка, кинулись солдаты. И тогда он сыпанул по ним из пулемета. Три раза прошел летчик над поляной, и три длинных очереди распороли небо над головами немцев. Тех, кто не успел укрыться за деревьями, пули швырнули на землю.

— Утек, — разговаривал сам с собой летчик. — Конечно, утек... Пашка проворный... Не такой он малец, чтобы его поймали... Где же ты, чертенок?

Боеприпасов было в обрез, горючего лишь бы дотянуть до линии фронта, но Мише не хотелось улетать. Он жадно выискивал глазами юркую фигурку мальчика.

Солнце просвечивало деревья. Видны были даже черные пни, муравьиные кучи. Группа немецких автоматчиков углублялась в лес. Подождав, когда они вышли на просвет, Миша полоснул по ним из пулемета. Очередь резко оборвалась. Кончились боеприпасы.

— Эх, Павел Терентьевич... Паша, — сказал летчик. — Знал бы, что такое дело, — на плечи тебя посадил... Улетели бы вдвоем. Прощай, мальчишка!

На душе у летчика было тревожно.

Залатанный брезентом истребитель покачал крыльями и, взяв курс на передовую, пошел над лесом, набирая высоту. На хвостовом оперении, словно флаг, победно хлопал сорванный ветром кусок брезента. Ветер оказался сильнее Пашкиных шурупов. Но эта дыра в самолете была не опасной.

6

Может быть, Пашка и убежал бы. И никто не догнал бы его. Пашка быстро бегал. Но разве мог он далеко уйти? Он должен был своими глазами увидеть, как поднимается в воздух Миша. Отбежав от поляны метров триста, Пашка залег за кустами. Это были волчьи ягоды. Они еще были зеленые, и слабый ветер шевелил ветви с ягодами над Пашкиной головой.

Близко строчили автоматы, слышались крики немцев. И все заглушал мощный рев мотора.

Пашка не выдержал, не мог он сидеть здесь и слушать, как расстреливают из автоматов истребитель. А что, если самолет уже подбит? Миша ранен? Один сидит в кабине, а солдаты ползут по поляне, они хотят взять летчика живьем... «Вот так друг, — думает Миша про Пашку, — убежал как заяц, бросил меня в беде...»

Пашка поднялся и пошел к поляне. Все ближе крики немцев, пальба.



Рев самолета оборвался и запел на другой ноте. Поднялся! В воздухе звук мотора совсем иной, чем на земле. Задрав голову, Пашка не спускал глаз с синего квадрата неба.

Он был уверен, что самолет обязательно покажется в этом просвете между деревьями. И он ждал. Гул мотора стал тише, яростно застрекотали автоматы, ругань немцев стала громче. Пашке показалось, что он узнал каркающий голос Гюнтера. И тут снова послышался гул самолета. С неба раздалась пулеметная очередь.

— Лупи по гадам! — ликовал Пашка, обнимая толстую ель. — Эх, бомбу бы... Одну, маленькую!

И Пашка увидел истребитель. Он совсем низко прошел над головой, как раз посередине синего окна. На крыльях две красных звезды. Он как бы наискосок перечеркнул это окно. Шасси истребителя были не убраны. Миша говорил, что здесь отремонтировать шасси невозможно. Ничего, долетит и с неубранными ногами. Пашка сел на землю и тихонько засмеялся. Он даже не почувствовал, что сел на еловую шишку. Это он, Пашка, помог летчику подняться в воздух. Прилетит Миша на нашу территорию и расскажет, как они с Пашкой ремонтировали самолет. И летчики скажут: «Ай да Пашка молодец!»

Пашка страха не ощущал. Он сидел прислонившись спиной к ели и радовался. Он совсем забыл про немцев. Даже не обратил внимания, что вдруг стало совсем тихо. Вершины высоких сосен чуть заметно покачивались, окно то становилось больше, то немного меньше. Откуда-то приплыло маленькое облако. Оно не спешило, это облако. И Пашка решил, как только облако уйдет из синего квадрата, он поднимется и тоже уйдет. Он пойдет прямо по лесу. Он будет идти день, ночь и еще день. А потом обязательно встретит партизан. Расскажет им про летчика, и они примут его в отряд.

Облако наконец скрылось. Пашка поднялся и пошел в глубь леса. Он почувствовал в карманах тяжесть. Это ведь консервы и хлеб. Так и не успел он передать Мише продукты. Ничего, долетит до своих, там досыта накормят. В другом кармане лежал кожаный шлем. Пашка не оставил его дома. Не хотелось ему расставаться с подарком летчика. Он вытащил шлем и надел на голову.

И вдруг Пашка замер на месте: из-за ствола вышел Гюнтер с пистолетом в руках. Он остановился напротив и, по привычке покачиваясь на длинных ногах, уставился на Пашку. Парабеллум тускло светился. Маленькое черное отверстие обнюхивало Пашку. Гюнтер молчал, и это было страшно. Пашка привык больше слышать Гюнтера, чем видеть. Так же молча вышли из-за деревьев еще несколько немецких автоматчиков. Автоматы были прижаты к животам. Среди них Пашка увидел и Вальтера. Его автомат висел на шее. Мундир расстегнут, рукава закатаны. К смятому погону прицепился корявый сучок. Пашка смотрел на этот сучок и равнодушно думал: «Сейчас он увидит свои консервы

и хлеб...» И еще Пашка подумал, что пусть его лучше здесь повесят на сосне, а не в деревне на березе. И пусть мать не узнает об этом, а то будет плакать. Пашка посмотрел на сосну и во второй раз за сегодняшний день испугался. Не надо его вешать на сосне. И на березе не надо. Он ничего такого не сделал. Он хочет жить. Хочет видеть это небо и деревья. И облака. Он еще маленький. Ему всего четырнадцать лет. Таких нельзя убивать. Пашка перевел глаза с Вальтера на Гюнтера и зажмурился: Гюнтер не размахиваясь ткнул его кулаком в лицо. Пашка упал и тотчас почувствовал сильный удар в бок... Лежа на земле, он видел большой запыленный сапог. Сапог, как маятник, уходил и приходил. Когда он приходил, Пашка закрывал глаза и прикусывал губу. Потом он увидел возле самого лица много сапог. Сапоги двигались, наступали на еловые шишки, вдавливали их в мох. Над головой слышалась немецкая речь. Больше не били.

Потом отряд шел по лесу. Гюнтер впереди, немного сбоку, за ним солдаты. Пашка плелся между солдатами и Вальтером, который тяжело шагал за ним. В голове шумело, иногда перед глазами вспыхивал радужный круг из голубоватых искр. Спина немецкого солдата маячила впереди зеленым пятном. Постепенно Пашка приходил в себя. Он почувствовал вкус крови во рту. Ныли зубы. Пашка языком дотронулся до передних зубов, они шатались. «Сапогом выбил, гад... — подумал Пашка. — Или кулаком?» И тут же забыл про зубы.

В деревню ведут. Что будет дальше, он представлял совершенно отчетливо: его приведут на площадь перед бывшим поселковым советом, соберут людей и повесят на перекладине, прибитой к двум березам. На той самой, на которой повесили Григорьева, секретаря сельсовета, и пленного командира.

Пашка озирался по сторонам. А что, если шмыгнуть в кусты? Страшно. Вальтер выстрелит из автомата в спину... А вдруг, когда будут вешать, он станет плакать? Люди будут смотреть на него и жалеть... А мать... Нет, он не будет плакать! Пашка вспомнил, как вешали лейтенанта. Он был весь избит, без одного уха, руки связаны за спиной. Перед тем как ему накинули петлю, он успел плюнуть в лицо офицеру, а солдата ударил ногой в живот.

До деревни осталось километра два. Здесь к ним примкнула вторая группа. На носилках, сделанных наспех из тонких берез, вспотевшие солдаты тащили раненых и убитых. Двое негромко стонали, а четверо лежали молча. Мертвые. Ай да Миша! Прочесал из пулемета... Пашка поймал взгляд Гюнтера: глаза немца стали такими же белыми, как алюминиевые пуговицы на мундире. Гюнтер положил руку на парабеллум и что-то скомандовал. Немцы двинулись дальше.

Сзади тяжело ступает Вальтер. Ему жарко в кителе. Слышно, как он дышит. И сучья щелкают под его сапогами громко, как будто стреляют из мелкокалиберной винтовки... А Миша уже, наверное, призем-

лился. Вот рады его товарищи! Думали, что Миша погиб, а он жив-живехонек. И Пашке становится немного легче. Он представляет лицо Миши, его черную бороду, веселые блестящие глаза. А здорово он под самым носом у фрицев вывернул в небо. Пашке кажется, что все это когда-то было. Самолет, поднимающийся в воздух, немцы, бегущие вслед за ним и стреляющие из автоматов... Где же это было и когда?

Шумно вздохнул за спиной Вальтер. Жарко. И остальным немцам жарко. Особенно тем, которые тащат раненых. Они растянулись по лесу длинной цепочкой. Впереди маячит зеленым пятном солдат. Он снял пилотку и засунул в карман. Светловолосая голова у него вытянута огурцом. А Пашка идет в шлеме. Сначала Гюнтер стащил с него шлем и хлестал им по лицу, а потом снова напялил Пашке на голову. Гюнтер хотел привести Пашку в деревню во всей красе. Вот, дескать, полюбуйтесь на партизана! И вдруг Пашке почудилось, что Вальтер дотронулся до его плеча. Пашка повернул голову и увидел лицо своего квартиранта. Вальтер был весь мокрый. Пот течет из-под пилотки. На висках мокрые дорожки. Вальтер кивнул в сторону леса. У Пашки заколотилось сердце: неужели?! Нет, ему показалось. Он снова смотрит сбоку на немца. И снова тот показывает глазами на лес: не раздумывай, беги! Пашка переводит взгляд на Гюнтера. Унтер-офицер шагает впереди. Его узкая спина туго обтянута зеленым сукном. Он в фуражке и потому кажется еще длиннее. Позади Вальтера, отстав шагов на десять, идут солдаты с носилками. Автоматы болтаются у них на шее.

Приближается большая куча сушняка, а за ней сразу кусты. И деревья стоят там плотной стеной, если и стрелять будут — не попадут. До сушняка шагов двадцать, если Гюнтер не оглянется, надо бежать... Десять шагов до кучи, пять...

Гюнтер все-таки оглянулся. Он видел, как мальчишка метнулся за кучу валежника. Выхватив парабеллум, Гюнтер бросился за ним.

А Пашка летел по лесу как на крыльях. Он сорвал с головы шлем и бежал, размахивая им. Сейчас кончатся кусты, вон уже совсем рядом красноватые стволы сосен. В просвете деревьев сверкнула паутина...

Пашка не слышал выстрела. Ему вдруг показалось, что он налетел на дерево и липкая паутина облепила его лицо. Пашка хотел поднять руку и сорвать паутину, и тут все завертелось: небо отпрыгнуло в сторону, а земля ринулась на него. И последнее, о чем подумал мальчишка, лежа вниз лицом, что мох совсем не колючий, он мягкий и нежный, как пух...

Два немца остановились над Пашкой. Гюнтер нагнулся и попытался выдернуть шлем из мальчишкиной руки. Но мертвый Пашка крепко держал в сжатом кулаке подарок летчика.

Петр Капица

БАЛТИЙСКИЙ МОРЖ



Штаб охраны водного района в первую блокадную осень размещался невдалеке от Кронштадта в казематах островка «К», построенных еще Петром Первым.

Гранитные стены круглого здания были так толсты и крепки, что крупнокалиберные снаряды отскакивали от них и рвались в воздухе.

Каждую ночь мы видели, как из петергофского парка беспрерывно взлетали ракеты и освещали пустынные пляжи.

Укрепясь на холмах парка, гитлеровцы из скорострельных пушек обстреливали залив и Морской канал. Даже в самые темные ночи быстроходные катера с трудом проскакивали из Кронштадта в Ленинград. Надо было потеснить оккупантов, прогнать с побережья.

Решено было с моря высадить десант, а с Пулковских высот пустить в наступление танки.

К десанту готовились несколько дней. Высадили его холодной октябрьской ночью прямо в воду у петергофского парка. Завязавшийся бой длился более двух часов. Лишь к рассвету стрельба стихла.

Утром радист штаба принял тревожное сообщение, переданное открытым текстом по коротковолновой радиостанции: «Боезапасы на исходе. Подбросьте сколько можете на пристань».

На этом связь оборвалась. В штабе задумались: кто передал радиограмму? Противник или свои? Если свои, то как они решились открытым текстом сообщить, что кончились патроны? А может, шифровальщик убит и другого выхода не было?

Днем к петергофской пристани послали бронекатер и «каэмку», нагруженные ящиками с патронами и гранатами. Но катерам не удалось сбросить боеприпасы: под пристанью оказалась засада. По бронекатеру был открыт пулеметный огонь.

К счастью, броня была достаточно прочной. Катерники успели развернуться и отойти в глубь залива.

Самолет тоже не обнаружил десантников. Командование решило связаться с ними ночью. Но как? Кого послать? Требовались не только отчаянно смелые и смышленые люди, но и хорошие пловцы.

— А почему бы не послать политрука Бочкарева? — предложил оперативный дежурный. — Довольно ему холодной водой укреплять нервы. Пусть под огнем противника покажет свою закалку.

— Верно, — согласился начальник штаба.

Бочкарев был политруком у матросов, несших караульную службу, и старшин, снабжавших дозорные катера провиантом и боезапасами.

Спал политрук меньше других, но всегда был бодрый и даже какой-то лучезарный, словно его распирало от здоровья. В любую погоду Бочкарев в одних трусах, накинув на плечи только полотенце и шинель, спускался по каменистому откосу к морю, оставлял одежду на валуне и не спеша входил в воду, окунался и плыл. Ни ветер, ни град, ни стужа не могли остановить его. Поплавав, он спокойно растирал полотенцем тело до красноты, на несколько минут забегал в свою каютку в домике у поста наблюдения и выходил завтракать в хорошо отутюженных брюках, опрятном кителе и ботинках, надраенных до зеркального блеска.

— Тут в меховой безрукавке от холода дрожишь, а он купается, — как-то заметил командир отряда. — Ишь тюлень нашелся!

— Разрешите доложить... Таких не тюленями, а моржами зовут, — вставил адъютант.

Бочкарева разыскали в матросском кубрике. Разговаривал с ним сам начальник штаба. Он подвел политрука к карте и предложил до наступления темноты разработать детальный план ночной операции.

— Надеюсь на ваш опыт и смышленость питерца, — добавил начштаба.

— Есть доложить до наступления темноты, — ответил Бочкарев.

Козырнув, он повернулся и вышел.

В своей тесной каюте политрук расстегнул воротник кителя и, потирая ладонью лысину, принялся вслух рассуждать:

— Что я ему придумаю? Ишь хитрец: «надеюсь на смышленость питерца». А ты знаешь, что питерец никогда подобными делами не занимался? Слесарил себе в механосборочном, заседал в партийном бюро да баловался зимним купанием в клубной секции «моржей».

Бочкарева не пугал предстоящий риск. Но как сообразить, чтобы задание не провалить и оставить хоть какой-нибудь шанс на спасение?

Мысли политрука прервал шорох за окном. Там топтался рыжева-

тый пушистый голубь, круглый как шар, с розовым клювом и розовыми ножками. Он склонил голову набок. Глаз его был в золотистых кружочках. Рыжий в полдень прилетел сюда поживиться крошками.

— Эх, брат, позабыл я про тебя, ничего не захватил, — сожалея, сказал политрук. — Что, голодновато становится? Нечего клевать? Боюсь, скоро тебя с Сизухой ощиплют и в общий котел отправят.

Бочкарев порылся в тумбочке и, найдя обломок печенья «Мария», высунул руку за форточку и стал крошить его на подоконник.

Видя, как голубь жадно хватает крошки, он подумал: «А ведь ты, Рыжик, можешь мне пригодиться! Рацию не надо с собой брать, и связь будет надежней. Ты верен своей Сизухе, обязательно в гнездо вернешься. Выходит, я зря ругал старшину Кургапкина: «Вздумали на военной службе голубей гонять! Пора кончать с мальчишеством...»

Голуби на островке никому не мешали. Они жили на чердаке главного здания и кормились у камбуза. Правда, их недолюбливал санинструктор и называл «грязной птицей». Но и он только грозился перестрелять их, а сам ждал решительных действий от политрука.

Голуби действительно были довольно неопрятными и шумными птицами. Они не вили гнезда, а лепили его из своего помета. Пачкали подоконники и часто дрались. За малейшую провинность Рыжик устраивал выволочку своей Сизухе: свирепо клевал нежную подругу и так трепал за хохол, что она от изнеможения валилась с ног. Но Рыжик долго сердиться не мог, он был отходчив: тут же начинал, надув шею и развернув хвост, вертеться мелким бесом, ворковать, раскланиваться...

Голуби развлекали матросов на этом клочке земли, окруженном водой. Больше всех голубями занимался старшина Кургапкин.

«А ведь Кургапкин на гражданке где-то под Петергофом жил, — вспомнил политрук. — Пляжи и парк ему знакомы. Может, мы вдвоем управимся?»

Мысль, возникшая неожиданно, толкнула Бочкарева на решительные действия. Он разыскал старшину Кургапкина, исполнявшего обязанности киномеханика и начклуба.

— Вы, как мне помнится, просились на сухопутный фронт под Петергоф?

— Так точно. От Стрельны до Рамбова весь берег знаю.

— Командование удовлетворяет вашу просьбу: сегодня ночью пойдете со мной в разведку. Давайте продумаем, как нам изловчиться, чтоб дело сделать и голов не сложить.

Через час Бочкарев доложил командованию отряда, как он намерен действовать в ночной разведке. Начштаба одобрил использование голубей, но тут же поинтересовался:

— А они дадутся в руки кому-нибудь, помимо Кургапкина?

— Кок Савушкин их подкармливает. Голуби из рук у него клюют.

— Добро, — удовлетворенно сказал начштаба, видя, что у политрука все продумано до мелочей. — Только есть ли смысл всю операцию без единого звука проводить? Усложните поиск. Лучше, после того как вы укроетесь, шумнуть — устроить демонстрацию неудачной высадки. Авось наши покажутся на берегу или как-нибудь дадут знать о себе.

Сборы были недолгими. Старшина Кургапкин посадил голубей в круглую корзину, которая до половины входила в спасательный круг и могла держаться на воде. А политрук тем временем запаял воском крошечные трубочки, нарезанные из гусиных перьев. В каждую трубку был вложен свой зашифрованный текст: «Высадились удачно», «Высылайте катера по световому сигналу», «Подберите в море».

Надев теплое егерское белье и свитера, натянув на себя непромокаемые противоипритные костюмы, добытые у начхима, разведчики спрятали в резиновые кисеты электрические фонарики, стекла которых были так обклеены черной бумагой от фотопленки, что пропускали лишь тоненький лучик света, и выкурили по последней папиросе.

На траверз Петергофа их доставила «каэмка».

В заливе было темно. В небе, затянутом облаками, не просматривалась ни одна звездочка. С северо-запада дул холодный ветер, вздымавший небольшую волну. Далекие петергофские пляжи то и дело освещались колеблющимся, блеклым светом ракет.

Катерники спустили на воду надувную десантную шлюпку, подали разведчикам голубей и пожелали счастливого плаванья.

Кургапкин оттолкнулся от «каэмки», а Бочкарев начал грести широколопастными короткими веслами. Ветер, дувший разведчикам в спину, помогал двигаться.

— Минут через пятнадцать будем у камышей, — определил старшина. — Там вода по пояс, не выше. А в Ленинграде сейчас воздушный налет, — вдруг добавил он.

С залива хорошо был виден затемненный город и розовое пятно зарева над ним. Где-то на Васильевском острове горели дома, и отблески пламени отражались на облаках. А над Выборгской стороной в темном небе то в одном, то в другом месте вспыхивали яркие звезды и гасли. Это рвались снаряды зениток. В трех местах небо обшаривали зеленовато-голубые лучи прожекторов.

«Не горит ли мой дом? — в тревоге думалось политруку. — Ведь предлагал Клаве эвакуироваться — нет, не захотела, осталась минометы из водопроводных труб сваривать. Мальчишку сгубит. Какая теперь школа? Вовка, наверное, все на крыше — храбрость показывает. Не думает, что воздушной волной скинуть может.

А старшина вспомнил белобрысую ленинградскую девчонку с фабрики «Веретено». Он познакомился с ней перед самой войной на откры-



тии петергофских фонтанов. Только тогда взлетали не эти тревожно подрагивающие ракеты, а трескучие, хвостатые, вертящиеся.

Неожиданно по заливу скользнул бегущий свет прожекторного луча.

Разведчики прижались к холодному дну лодки.

Они не поднимали голов, пока свет не погас. В заливе стало темней.

— Не снесло ли нас ветром? — спросил политрук старшину.

— Есть малость,— ответил тот.— Надо чуть левей. Дайте я погребу.

Старшина взял у политрука одно весло, и они так энергично заработали, что вода со слабым плеском вспенилась и забурлила у борта.

Приблизясь к зарослям камышей, Бочкарев поставил корзинку с голубями в спасательный круг и шепнул:

— Приготовиться. Будем стравлять воздух.

Они слегка приоткрыли клапаны резиновой лодки. Воздух начал выходить, а лодка, теряя плавучесть, постепенно опускалась на дно.

Вскоре разведчики ощутили ногами твердый грунт. Вода им доходила до ключиц. Осторожно передвигаясь вперед, они потащили за собой чуть всплывшую лодку и спасательный круг с голубями.

В камышах остановились и стали прислушиваться. Кругом было тихо. Доносился лишь шелест сухих стеблей и тонкий свист ветра.

Несмотря на холод, разведчикам было жарко. Бочкарев вытащил электрический фонарик и, держа его так, чтобы свет был виден только с моря, несколько раз щелкнул выключателем. В заливе замелькал ответный огонек, сообщавший, что сигнал замечен.

Сразу же из парка вырвались два ярких луча и, пронизав тьму, стали шарить по заливу.

Вскоре они наткнулись на буруны бронекатера и «морского охотника», направлявшихся к другой пристани.

В парке заработали пулеметы и стали бухать пушки.

Катера, не снижая скорости, разошлись в разные стороны и, маневрируя меж всплесками, стремились ускользнуть во тьму. Длинные щупальца прожекторов лишь на секунды теряли их, но мгновенно находили и старались не упускать.

Разведчики тем временем наблюдали, что творится на берегу. Они видели, как пулеметы роями выпускали в море светящихся жуков, как из дотов цепочкой вылетали снаряды и вычерчивали огненные пунктиры.

Но на опушках парка и на пляжах, освещаемых ракетами, никто не показывался.

«Где же наши? — недоумевал политрук.— Не под рыбачей ли пристанью?»

Бочкарев стал внимательно вглядываться в каждый куст и валун. Одно место ему показалось подозрительным. Он дождался взлета новой ракеты и в ее мертвящем, словно лунном свете, рассмотрел меж

двумя валунами окопчик с навесом из камыша и бледное лицо человека в каске, лежащего за пулеметом.

«Наши или гитлеровцы в секрете?» .

Политрук толкнул старшину и показал рукой.

Когда очередная ракета осветила валуны, они оба убедились, что в окопчике наблюдают за морем два гитлеровца.

— Давайте их снимем, пока идет стрельба,— приникнув к уху политрука, шепнул старшина.

— Заходи слева, я справа. Нападем одновременно с тыла.

Оставив голубей и притопленную лодку, они осторожно начали пробираться к берегу. В густых зарослях были вытоптаны проходы. По ним, сильно пригибаясь, и пошли разведчики, стараясь не плеснуть, не зацепить плечом высоких камышей.

У берега, где песок облепляла пена прибоя, они взяли ножи в зубы и, прижимаясь к земле, поползли меж валунов.

Перестрелка с катерами продолжалась.

«Молодец начштаба, — подумал политрук. — Это он умно придумал».

Всякий раз, как взлетали ракеты, разведчики прижимались к камням и лежали неподвижно. Желтоватые противоипритные костюмы были хорошей маскировкой на песке.

Приблизясь с разных сторон к окопчику, разведчики одновременно поднялись и, как только взлетела очередная ракета, навалились на гитлеровцев. Один пулеметчик даже не шелохнулся, а другой, повернувшись на спину, хотел было позвать на помощь, но старшина, схватив горсть сырого песку, забил им его раскрытый рот.

Покончив с гитлеровцами, разведчики развернули пулемет в сторону парка и стали совещаться: что делать дальше?

— Надо просигналить нашим о высадке, — предложил Кургапкин. От холода или волнения старшину трясло.

— Пошли голубку, — сказал политрук. — А я здесь понаблюдаю. Только накинь немецкую хламиду, авось фрицы за своих примут.

Они оба натянули на себя маскировочные плащ-палатки, снятые с убитых гитлеровцев, и смелей стали продвигаться к берегу: старшина пошел в камыши, а политрук, оглядевшись, подобрался к мосткам рыбачьей пристаньки, выдвинутым в залив метров на двадцать.

У пристани на берегу валялись какие-то ящики, невдалеке из воды торчал обломанный нос затопленного бота. Людей нигде не было видно.

Бочкарев вошел в воду и заглянул под настил пристани. Ему послышалось, что в глубине, где переплетались подпорки настила, что-то с всплеском упало.

«Водяная крыса или человек?» — не мог определить политрук. Прижавшись к свае, он направил тоненький лучик фонарика в ту сторону, откуда слышался всплеск.

В первые секунды Бочкарев ничего не мог разглядеть в замысловатом переплетении теней, но всплеск повторился. Тогда он вдруг заметил свисавшего с балки человека в черной одежде. Человек, взмахивая руками, пытался поднять голову, но у него ничего не получалось: голова, чуть качнувшись, оставалась на месте, а руки бессильно падали в воду.

«В бушлате... свой», — обрадовался Бочкарев.

Согнувшись, он почти ползком подобрался к человеку и помог ему поднять голову. Это был молодой белобрысый матрос, совсем еще мальчик. Лицо его горело от жара.

«Ранен, бредовое состояние», — понял политрук. Он с трудом стянул повисшего матроса с балки, по воде выволок на сушу, а там, взвалив его на спину, ползком переправил в окопчик.

С помощью старшины Бочкарев разжал зубы матросу и влил ему глоток шнапсу из фляги, найденной у убитого гитлеровца.

Матрос вскоре пришел в себя, что-то пробормотал. Политрук наклонился к нему и спросил:

— Где десант? Мы прибыли связаться...

Матрос отвечал невнятно. Бочкарев с трудом разобрал, что десантники пошли на прорыв через парк правей главного фонтана и захватили Английский дворец.

— Все, видно, полегли, — едва шевеля запекшимися губами, бормотал раненый. — Нас танк обстреливал... Меня и радиста послали за патронами... По дороге — миной... Радист умер, а я спрятался... Ног не чувствую... Холодно очень.

— Что же делать? — шепотом спросил старшина у политрука.

— Его надо в госпиталь. Иди накачивай лодку.

Старшина, решив, что на этом их разведка и кончится, поспешил выполнять приказание. Когда он вернулся из камышей к окопчику, то увидел, как политрук заканчивает перевязывать матроса.

Они вдвоем перенесли раненого в лодку и укрыли немецкой шинелью. Усадив старшину за весла, Бочкарев сказал:

— Как отойдешь подальше, — пошлю Рыжика с извещением, чтобы вас катер подобрал. Ясно?

— А вы сами как же? — испуганно спросил Кургапкин.

— Вплавь доберусь, не беспокойтесь.

Бочкарев протащил лодку по старому следу к чистой воде и посоветовал:

— Если осветят, — не шевелитесь.

Политрук отдал спасательный круг и оттолкнул от себя лодку.

Простояв немного в камышах и, убедившись, что лодка удаляется, он вернулся с голубем на берег.

В окопчике Бочкарев открыл корзину. Голубь, покорный своей судьбе, сидел смирно. Он только чуть приподнял клюв.

— Что, Рыжик, замерз? — шепотом спросил политрук. — Сейчас полетишь к Сизухе.

Он привязал к лапке птицы трубочку с просьбой выслать катер и подбросил голубя вверх.

Бурный всплеск крыльев показался грохотом. Бочкарев приник к земле.

Вскоре послышались голоса. Это приближалась смена пулеметчикам.

«Сейчас поднимут тревогу. К Английскому дворцу уже не пробьешься, — досадуя, подумал Бочкарев. — Укроюсь под пристанью».

Времени на размышление не было. Где ползком, где перебежкой, он добрался до пристани и забился под настил в самый дальний конец. Здесь, на крошеве полусгнившего плавника, можно было лежать, вытянувшись во весь рост.

Вскоре побережье залил яркий свет. Пробиваясь сквозь щели, он резал глаза. Началась суета. Слышались отрывистые команды, топот многих ног, звяканье автоматов...

Дозорные катера, всю ночь дрейфовавшие на траверзе Петергофа, подобрали лишь одну резиновую лодку со старшиной и раненым линкоровцем.

Утром, услышав в штабе отряда от Кургапкина о поведении политрука Бочкарева в ночной операции, мы поняли, какой храбрый и самоотверженный человечище жил среди нас.

Весь день все ходили погрустневшие, словно потеряли брата или близкого друга. А ночью вдруг были разбужены звонками громкого боя. Тревогу поднял часовой, стоявший на каменистом берегу у двуствольного зенитного пулемета. Матрос увидел, как у самого маяка из воды поднялся человек и, спотыкаясь, чуть ли не на четвереньках стал приближаться.

Дав сигнал тревоги, часовой заорал:

— Стой!.. Стой, стрелять буду!

Человек остановился и, задыхаясь, сказал:

— Сколько можно в одного человека стрелять? Устал я... ведь почти море переплыл.

По голосу часовой узнал Бочкарева.

— Прошу прощения... — смущенно пробормотал он и тут же радостно прокричал: — Отбой тревоги! Полный порядок... Товарищ политрук с разведки вернулся!

Матроса не удивило, что политрук Бочкарев в такую стужу проплыл более двенадцати километров.

В. Курочкин

НЕРАВНЫЙ БОЙ



Случилось это весной 1944 года.

Немцы откатывались на запад. Ползли, увязая в цепкой грязи, нередко появлялись там, где о них и не думали. Все смешалось, перепуталось.

...Снег мокрыми хлопьями лип к бурой осоке, к соломенным крышам, ложился на разбухшую дорогу и сразу синел.

Майор сидел в обрызганном грязью газике и, склонив голову, о чем-то думал. Газик стоял перед широкой лужей. Шофер, широкоплечий сержант, мрачный, с глубоким шрамом на лбу, мерил колом лужу и потихоньку ругался. Выстрелы раздались неожиданно и резко. Шофер плюнул и пошел к машине.

— Танки стреляют, товарищ майор, — доложил сержант.

— Похоже... Ставь машину за хату. Пойдем посмотрим, что там.

Идти было трудно. Ноги вязли, снег слепил глаза. Неожиданно они услыхали детский крик:

— Дяденьки, миленькие, их там много. Опять идут сюда!

Они увидели босую девчонку. По виду ей было лет семь. Полинялое голубенькое платьице да шерстяной платок прикрывали ее худенькое тело. Майор подхватил девочку на руки:

— Зачем ты здесь? Где твой дом?

Девочка показала на одинокую хату.

— Саша, отнеси ее!

Сержант принял девочку, потом пошарил по карманам и вынул

кусок сахару. Сержант не добежал до хаты, когда из мутной тьмы с надрывным воём выскочил танк. Сзади танка полз густой черный дым. Это была наша «тридцатьчетверка». Машина остановилась. Из люков повыскакивали танкисты, подняли над мотором решетку, а потом стали шлемами черпать с дороги грязь и лить ее прямо в машину. Высокий лейтенант в черной тужурке командовал:

— Быстрей, быстрей! Давай еще, еще давай!

— Что с машиной, — окликнул майор лейтенанта, — подбили?

Лейтенант махнул рукой:

— Выхлопная труба отвалилась.

Скребя воздух, пронесся снаряд и, упав в канаву, поднял столб воды, мутной, как кофейная жижа. Тонко пропели осколки, звякнуло стекло; по щеке майора потекла кровь, на подбородке смешалась с водой и алыми каплями падала на полу шинели.

— Товарищ майор, — бросился к нему шофер, — вы ранены?

— Пустяки, царапина, — отмахнулся майор и, вынув носовой платок, зажал им рану.

Танкисты уже закрывали люки. Машина дрожала и, тяжело шлепая гусеницами, пошла обратно, швыряя на дорогу охапки искр.

...Майор с шофером стояли на бугре. Внизу в крутых берегах клокотала река. К мосту спускалась разбитая дорога. По ее красноватым колеям плелись ручейки. А на той стороне, где зеленела озимь и мокли заплаты рыжей зяби, вытянулась колонна фашистских танков. Она напоминала огромного удава. И пока машины двигались, серый удав лениво шевелился и злобно плевался огнем.

Сержант с майором упали и поползли. Им попался небольшой песчаный карьер.

Хлестко ударила пушка. Справа от них стояла каменная стена разрушенного дома. За нее спряталась наша «тридцатьчетверка» и, просунув в окно дуло пушки, стреляла. С того берега раздался дружный залп. И на месте стены поднялось розовое облако пыли. С поломанными крыльями, усыпанная обломками кирпича, «тридцатьчетверка» отошла назад... Майор развернул планшет и стал рассматривать карту.

— Дяденька, а дяденька... — услышал он знакомый голос.

— Как, это опять ты?! — удивился майор.

— Угу, — кивнула девочка. Но, увидев его строгое лицо, залепетала: — А мне теперь не холодно. Во, посмотри, — и она показала бежевые от глины полусапожки, обутые на босу ногу, и весело похлопала по плюшевому пальтишку, сшитому из старенького жакета.

Майор улыбнулся:

— Ах ты! Как звать-то тебя?

— Маринка, — потупилась девочка.

— Вот что, Маринка, беги домой и скажи папе с мамой, чтоб скорее уходили. Ну, ну, беги, доченька, а то стрелять будут.

Маринка опустила голову:

— Нету у меня папы. Они убили. А мама не ходит — ноги у нее отнялись.

Опять ударили пушки.

Воздух завыл, засвистел, запáх гарью. Головной танк врага оторвался от колонны и двинулся к мосту.

— Тигр, — прошептал сержант.

Маринка, схватив рукав майора, шептала:

— Ой, маменька, ой, милая...

Грузная, с зелеными пятнами громадина, не переставая стрелять, быстро прошла мост и, окутываясь дымом, стала подниматься. Навстречу ей спешила «тридцатьчетверка». Она развернулась и в упор ударила по выползавшему на бугор «тигру». Тот споткнулся, потом закачался и задом стал сползать вниз. Все быстрее, быстрее — и с ходу опрокинулся с крутого берега в реку. Над водой повисли гребенчатые полосы гусениц.

— Вот тебе, гад! Суши лапти! — не удержался сержант.

Теперь юркая «тридцатьчетверка» носилась вдоль берега. Она появлялась то здесь, то там, стреляла и пряталась за гребень бугра. По ней били беспрерывно.

И вдруг случилось неожиданное. Машина резко повернула от берега и быстро пошла в село.

Майор побелел.

— Что такое? — недоумевая, проговорил он и, выхватив пистолет из кобуры, побежал за танком, крича:

— Назад! Назад!

«Тридцатьчетверка» остановилась у крайнего дома. Из люка с трудом вылез лейтенант и, спрыгнув на землю, забегал вокруг машины, прижимая к боку локоть левой руки. Потом он сел на землю.

— Ух, как больно! Ужасно больно!

— Что, что с тобой? — крикнул, подбегая, майор.

— Откатом ударило по локтю. Даже в голове гудит, — лейтенант попытался улыбнуться, но лицо у него жалко сморщилось. — Черт его знает, как получилось! — скрипнув зубами, он поднялся. — Кажется, утихает...

Но майор хмуро взглянул на него.

— Ладно. С тебя сегодня хватит, — сказал он и легко вскочил на танк.

— Товарищ майор, куда вы? — попытался удержать его сержант. — Едемте отсюда скорее. Все равно не задержать их. Только зря погибнем.

— Сержант, возьмите себя в руки! — крикнул майор и поправил фуражку. — А о тебе, растяпа, доложу, чтоб к награде представили. — И грустно добавил: — Если, конечно, живыми останемся.

...К мосту подходило сразу три танка противника. «Тридцать-



четверка» снова вступила в неравный бой. Завертелся, не дойдя и до середины моста, немецкий танк; с катков с грохотом сползла гусеница.

Залп колонны противника, казалось, взорвал противоположный берег. Стальная крышка люка взлетела вместе с фуражкой. Над башней «тридцатьчетверки» показался легкий дымок. Машина медленно сползла с бугра. Сержант бросился к ней. С трудом он вытащил майора и на спине приволок в песчаный карьер. Положив его, сержант снял шапку и укоризненно проговорил:

— Зачем же вы меня не послушали, товарищ майор?.. Что же я теперь делать буду?..

— Дяденька Саша, ему очень больно? — всхлипнула Маринка.

— Нет, ему уже не больно, — ответил сержант.

«Тридцатьчетверка» горела вовсю. Но мотор все еще продолжал работать. На мосту к подбитому танку прицепляли стальной трос.

— А, буксировать задумали, гады! — злобно выругался сержант и кинулся к горящей машине. Из люка механика черными смолистыми клубами выбивался дым. Сержант нахлобучил на глаза шапку и нырнул туда. Машина рванулась и понеслась к мосту. Это уже не был танк. Это катился огромный клубок огня и дыма. Вот он вкатился на мост, превратился в грязно-багровый ком огня и взорвался. В небо взлетел темно-красный шар. От взрыва рухнул мост и дрогнул, осыпая бурые комья глины, обрывистый берег.

...Сгущались сумерки. В воде плясали угольки тлеющих у берега перил. Ветер, расчищая горизонт, гнал тяжелые, прокопченные тучи. Серая колонна танков изогнулась и поползла обратно, виляя обрубленным хвостом... А на бугре стояла Маринка и молча смотрела ей вслед, прижимая к опухшему от слез лицу смятую, опаленную фуражку.

Борис Благутин

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

1



Митьку привадил к нам сержат Корзунов. Они, кажется, дружили — двухметровый костромич, известный на всю роту заводила, и четырнадцатилетний деревенский парень с торчащими во все стороны светло-русыми вихрами.

Корзунов всегда что-нибудь рассказывал, нажимая на «о», а Митька смотрел на него внимательными, не по возрасту серьезными глазами и не перебивал. Обычно они встречались у нашей землянки. Митька неожиданно показывался из-за развалин, опасливо косился по сторонам и искусно свистел, точно заправский соловей. Корзунов отводил от нас глаза, смущенно трогал кончик рыжего уса и послушно шел на этот зов.

Иногда он выносил своему дружку или котелок с жидковато-зелеными щами — «хряпой», или кусок хлеба. А еще чаще Корзунов сокрушенно вздыхал, хлопал здоровенной пятерней по рваному Митькиному ватнику и говорил:

— Не обессудь, приятель... С харчишками что-то не того... Совсем запаршивели...

На исходе был октябрь сорок первого года.

Наш взвод строил тогда на окраине полуразрушенной деревни вспомогательное полевое управление, или - сокращенно - ВПУ. Работали скрытно, ночами. В каких-нибудь пятистах метрах от нас, за взорванным железнодорожным виадуком начиналась «нейтралка» — ничейная земля. За полоской этой искореженной, обожженной земли, изрытой, как оспой, воронками, притаился опытный враг. А мы, точно кроты,

зарылись в высокую насыпь железной дороги Ленинград — Москва и кляли «жесткую оборону», блокаду, немцев... В сырых норах-землянках всегда было дымно, пахло еловыми ветками и мокрыми портянками. По ночам огромные, отъевшиеся на мертвечине крысы-пасюки противно визжали и кусали за ноги.

Но податься было некуда — позади Ленинград! А кругом болота, торф... Бойцы сцепили зубы, терпели — накапливали злобу. А тем временем командование скрытно сосредотачивало технику, боеприпасы и набиралось сил, чтобы ударить по немцам и погнать их вон от Ленинграда.

Митя не показывался у нашей землянки уже третий день, и Корзунов все прислушивался, не свистит ли его приятель. А сегодня Корзунов встал не с той ноги и просто не знал, на ком выместить свое дурное настроение.

— Галкин! — брюзжал он на сутулого и удивительно тощего красноармейца. — Куда ты, старая кочерыжка, задевал мои рукавицы?

Галкин действительно был стар и, как многие старики, оторванные от привычных жизненных условий, был неряшлив, суетлив, любил поесть и особенно — поболтать. К военной форме он относился без особого уважения: пропитанную по́том бурую пилотку носил задом наперед, приветствовал левой рукой, а винтовку таскал под мышкой, будто полено. Как Галкин попал в армию, да еще в действующую, никто из нас не знал.

— А и верно, — заискивающе произнес он. — Что-то частенько стали пропадать у нас вещицы... То кусачки, то саперные ножницы... Намедни и монтерские когти кто-то увел... А сейчас — рукавицы! Никак Митька шкодит! Привадили приятеля... Метлой бы его!

В эту минуту забухали зенитки и сердито затявкали крупнокалиберные пулеметы.

— Ну, началось светопреставление... — сказал Корзунов. — Вылазь, пехтура, из преисподней. Опять наш бешеный за колбасами пожаловал...

Так мы называли обыкновенный немецкий «мессершмитт». Этот выкрашенный в черный цвет самолет с тевтонскими крестами на плоскостях и свастикой на хвосте причинял нашим войскам и особенно зенитчикам много неприятных минут. Почти ежедневно, в разное время, он прямо-таки по-разбойничьи вырывался из лесной просеки и со страшным свистом взмывал вверх. Нам казалось, что этим «мессером» управлял пьяный или сумасшедший.

Его так и прозвали: «бешеный фриц».

В течение нескольких секунд этот бешеный выделывал над нашими головами замысловатые фигуры высшего пилотажа, а затем стремительно уходил к Колпино. Там он сбивал аэростаты, или, попросту, колбасы, бил по машинам и даже гонялся за отдельными красноармей-

цами, а однажды прострочил пополам собаку командира дивизии. Вдоволь натешившись и помахав нам нагло крыльями, немец снова нырял в свою излюбленную просеку.

Мы диву дивались! Как только умудрялся он летать по просеке, не зацепившись за деревья.

— Видать, ас! — поясняли зенитчики и разводили руками. — Это называется у них «свободная охота». Выскочит из лесу, словно черт на помеле... Очухаться не успеешь, не то что прицелиться!.. Но ничего... Вгоним мы этого аса в землю! Не таких на мушку брали...

И действительно, следующим утром немецкому асу пришел конец. Только показался он в злополучной просеке, как вдруг начал рубить верхушки сосен, разворотил деревья и, полыхнув огнем, камнем нырнул в лес.

А вечером взводный удивил нас:

— Летчик с «черного мессера» остался жив! Немного поджарился, но ничего... дышит...

Оказывается, кто-то перегородил просеку телефонными проводами и кусками троса. Все это попало в винт, намоталось на него клубком, и самолет врезался в землю.

— Просто и здорово! — сказал взводный. — Вот вам и русский Иван! Надо же догадаться перегородить просеку!

— Видать, башковитый мужик сделал, — важно изрек Галкин. — У меня бы котелок не сварил... Не-е! Не смекнул бы...

Все засмеялись. Стали гадать, в какой роте обнаружится этот «башковитый мужик». Но прошло больше суток, как немецкий самолет упал в просеке, а так и не удалось узнать, кто подстроил эту хитроумную ловушку. Опрашивали всех повзводно, поротно. Но бойцы только плечами пожимали, посмеивались.

Правда, во втором батальоне один артиллерист-азербайджанец заявил, что якобы несколько дней назад видел на просеке вроде бы связиста с мотками проводов. Но было далеко, темновато, и он не разглядел его.

«Вчера ходил, — с философской мудростью заметил азербайджанец, — сегодня аллах прибрал... На том свете искать надо». Его мрачная шутка была не без основания: много свежих могильных холмов выросло за это время у деревенского погоста... Не такое было время, чтобы долго загадками заниматься.

Следующим вечером взводный пришел в нашу землянку и сразу же вспомнил «дьявола». Он был рассеян и отвечал невпопад. Мы знали, что у него остались в Ленинграде тяжело больная мать и сестренка-школьница.

Пытаясь скрыть тревогу, он глухо произнес:

— Обложили Ленинград, как стервятники... К Москве рвутся, дьяволы!

— А не хватит ли пятиться? — буркнул Корзунов. — Что мы — раки? Пора и по мозгам дать гадам.

— Дадут, дадут, Корзунов, — рассеянно говорил взводный и неожиданно спросил: — А где же ваш соловей, Митька, что ли?

Корзунов затянулся махорочным дымом с такой силой, что на конце самокрутки что-то затрещало и посыпались искры.

— А кто его знает... Может, в живых нет... Долго ли!

— А где Галкин? — снова спросил взводный.

Галкина не было. Все начали оглядываться.

Взводный заиграл желваками и хотел что-то сказать, но тут дверь отворилась, и сам Галкин чуть не кубарем вкатился к нам. Он еле отдышался, обдернул мешком обвисшую шинель и заворковал эдаким елейным голоском:

— Ах ты, господи! Виноват-то... товарищ лейтенант... Черт попутал малость...

— Галкин, — сверкнул удивительно светлыми глазами взводный, — говорите короче, без этих... без эмоций...

Галкин набил старую, обгрызенную трубку-носогрейку зеленовато-бурой махрой — «горлодером». Его корявые пальцы заметно дрожали.

— Вот так история! — начал он. — Только я того, значит, зашел за развалины, гляжу — рукавицы!.. Положены так это аккуратненько, по-хозяйски! Ну, думаю, дело не чисто... Откуда бы им тут взяться?! И вдруг, господи Иесусе, кто-то так жалобно застонал из-под земли!.. Аж мурашки побегли... Живых-то я не боюсь, не-е! А вот покойничков, того... не очень-то... И, признаться, малость струхнул — спину показал...

Сизый махорочный дым стоял столбом, ел глаза, першил в горле, но никто не торопился выходить из землянки. Всех нас рассмешила очередная «история» Галкина.

— Не козел ли оказался? — заметил с подковыркой Корзунов. — Случается...

— Не-е!..— замахал руками Галкин.— Митька это! Сразу смекнул... Известное дело! Халюган первостатейный! Присосался, паразит... Кто ж останется здесь, под носом у германцев?! Две-три хворые бабы, выживший из ума дед да этот шалый Митька — вот и вся деревня!

Галкин как-то лихо, одним ударом ладони, выколотил трубку и добавил:

— Выследил я все же нору твоего свистуна, товарищ сержант... Да и разведал кое-чего... Копает он тихой сапой картошку на заброшенных огородах у самой нейтралки да в Колпино и сплавляет какой-то Савельевой, что ли? Ох и ловок! Но и я, брат, тертый калач!..

Взводный поморщился и сказал:

— А не пора ли, Корзунов, и в самом деле кончать с этим Митькой? Нашли себе приятеля...

– Да какой он мне приятель! — огрызнулся Корзунов и зло покосился в сторону Галкина. — В сыны годится... Раза два супешника отлил да хлеба кусок дал... Не волк же я... А про остальное — брехня! «Тертый калач...»

Взводный помолчал, а потом, сощурившись, сказал:

— Завтра же отправлю вашего соловья отсюда... Здесь не детский сад.

Корзунов ухмыльнулся и заметил:

— Уже отправляли... Возили в Колпино, в Ленинград и даже до Ладоги довезли...

— Ну и в чем дело?

Корзунов ожесточенно поскреб затылок и, сатанея от злости, сказал:

— Да дом его здесь, понимаете?.. Родина, значит... тянет его сюда... Собачонка и та к своей избе льнет...

Взводный снова помолчал, провел носком сапога по земляному полу:

— Не разжалобите, не старайтесь. — И, обращаясь ко мне, добавил: — Как стемнеет, переселяйтесь вместе с отделением Корзунова в первый блиндаж. Там посуше да и понадежнее... Понадоблюсь — буду у командира роты.

2

Утром, чуть свет, взводный пришел в наше новое жилище с Митькой.

На Митьке был неизменный рваный ватник, а под ним виднелась темная сатиновая рубаха с расстегнутым воротом.

Митька стоял посреди блиндажа и, наклонив голову, смотрел на нас угрюмо, исподлобья, словно собирался боднуть...

Взводный уселся на нары, подвинул ногой ящик из-под патронов и сказал:

— Ну-с, садись. Будем знакомиться. Как звать?

Митька молчал.

— Да Митькой его звать, — пояснил Галкин. — Известное дело...

Митька еще больше насупился и с чувством собственного достоинства произнес:

— Не Митька, а Дмитрий Петрович... Варенцов!

Пряча улыбку, взводный спросил:

— А ты знаешь, Дмитрий Петрович, что детям здесь нельзя жить? Передний край...

— Знаю... Слыхал.

— А почему нарушаешь?

Митька пожал плечами.

— Кто-нибудь из родных есть?

— А у него нет никого, — снова встрял дошлый Галкин. — Бобылем живет, один...

Взводный внимательно посмотрел на Митьку и спросил:

— А где мать... отец?

Большие карие глаза Митьки потемнели, в них появилось нечто похожее на тоску, но он тут же овладел собой и сердито буркнул:

— Пристали... Где да что! Батьку еще в августе стропилами придавило... Снаряд в избу угодил... Тут за сараем и похоронил... А маманю не знаю... Родила меня да померла...

Взводный помрачнел, затянулся самокруткой и тихо сказал:

— Ты Галкина пугал?

Митя шмыгнул носом и, глянув исподлобья на Галкина, медленно протянул:

— Не пугал я... Бинты сматывал, больно было... Всё ему, старому, надо... Подсматривает везде... Будто и подпол его!

— А почему, Митяй, у тебя руки в бинтах? — участливо спросил Корзунов. — Никак кошек ловил?

Митька упрятал руки между колен и ухмыльнулся.

— В пулеметчики не берут... — с обидой в голосе сказал он, — от пушек гоняют... Вот я и тренируюсь перевязывать... Авось медсестрой или медбратом сгожусь...

Корзунов засмеялся и неожиданно спросил:

— А не ты ли, медбратик хороший, увел мои рукавицы?

— Я, — тихо ответил Митя.

— А может, и монтерские когти спер?

— А кто же...

— И трос?!

— И трос.

— А может, ты, яко архангел Гавриил, и «бешеного фрица» с неба свалил, а?.. — ехидно заметил Галкин и с победоносным видом оглядел всех нас.

— Я, — совершенно спокойно ответил Митя. — А кто же?

Все загоготали, а взводный покачал головой и сказал:

— Ну знаешь, батенька!

— Ох и свистун! — возмутился Галкин. — Задрать бы тебе штаны, вот что!

Митька обиженно засопел носом и протянул:

— Я никогда не вру...

— Мне даже совестно за тебя, — сказал Корзунов. — Вроде этого... Мюнхаузена ты... Вот кто!

Митька побледнел и, неожиданно отшвырнув в сторону патронный ящик, вцепился в Корзунова.

— Сам ты... — запнулся он, — Мю... Мюнхазен! Фриц поганый!

Корзунов с трудом оторвал от себя Митьку и, поглаживая шею, смущенно произнес:

— Ну и петух! Чуть глотку не сломал...

Взводный громко засмеялся и сказал:

— Э, да ты, Дмитрий Петрович, оказывается, и не читал про этого барона-вральмана! Перепутал порядочного, веселого фантазера с каким-то фашистом... Нехорошо! Вот отведут тебя в штаб — там у тебя будет время просветиться...

3

В этот день немцы вели себя как-то странно: притихли, ни одного выстрела, словно и нет их вовсе.

— Ох, не к добру это! — по-стариковски ворчал Галкин.

К вечеру мы гуськом потащились обратно в свой блиндаж с запавшими от усталости и голода скулами. На ВПУ остались на внутренних работах только электрики и техники-радисты.

Из блиндажа непривычно тянуло теплом и — что совсем невероятно! — пахло горячим хлебом!..

Мы ошалело переглядывались, не понимая, что бы это могло значить. Наконец я отворил дверь.

Посреди блиндажа были наставлены патронные ящики, а поверх них резала глаза совершенно белая простыня! За этим самодельным столом восседал, точно падишах, Митька, а около него суетился сержант Корзунов.

С Корзуновым тоже происходило нечто странное. Он все величал Митьку Дмитрием Петровичем и делал это без обычной подковырки, на что был мастером отменным.

— Дмитрий Петрович, — ласково говорил он, делая при этом вид, что не замечает нас, — потерпи, друг. Сейчас ужинать будем... Колбаски тебе побольше или сальца с чесночком?

Митька принимал это как должное и эдак нахально поглядывал на нас. Вот, мол, видали!

Мы стадом столпились у входа и глазам не верим!

На самодельном столе стояли консервы, горкой возвышались толстые ломти хлеба, сала, колбасы...

— Ну... чего слюнки глотаете? — издевался Корзунов. — Рассупонивайся, пехота — царица полей! Дмитрий Петрович угощает!..

Все хором заговорили, зашумели. Глаза у солдат жадно заблестели. Усталости как не бывало!

— Батюшки-светы! — плаксиво протянул Галкин. — Никак немчуре конец пришел! Глядите, братцы, щи!.. А хлеб-то, родненькие, горяченький, подовый, с корочкой! Господи!..

— Ну запел, точно пономарь! — оборвал его Корзунов. — Поглядел бы лучше сюда, Аника-воин.

Корзунов отдернул ватник на груди Мити.

На сатиновой рубашке Дмитрия Петровича тускло поблескивала новенькая серебристая медаль «За отвагу».

Мы в недоумении поглядывали то на Митьку, то на Корзунова.

— Смирно! — зычным голосом скомандовал Корзунов. — По случаю награждения Дмитрия Петровича боевой медалью «За отвагу» опрокинем по кружке и троекратно крикнем ура! Только — чур! — потише. Глотки-то у вас, чертей, луженые... Немцев всполошите...

Корзунов вытащил из-под нар пузатую бутыль — «митрополит» — и настоящую, довоенную бутылку вина. На пестрой этикетке в золотых лучах солнца было написано: «Массандра», а ниже большими буквами: «Портвейн».

Я даже зажмурил глаза, будто на этикетке было не сусальное, а настоящее солнце.

— Ну давай, рассказывай! — загудели со всех сторон.

Мы торопливо расселись кто куда и с жадностью набросились на небывало густые щи и чертовски вкусный ржаной хлеб.

— Галкин, — сказал Корзунов, — подлей по такому случаю горючего в нашу люстру. Да смотри не заглотай вместе со щецами и казенную миску... И куда только лезет?!

Наконец наступила тишина.

Почти пустая консервная банка с веревочным фитилем, которую мы величали «люстрой», больше чадила, чем светила. Но наш блиндаж казался в тот вечер дворцом. В полумраке радостно поблескивали глаза и зубы бойцов.

— Так вот, — начал Корзунов, — и вправду обломал нос черному «мессеру» наш Дмитрий Петрович. Поняли?! Сам командующий вручил медаль, вот этих харчишек приказал подбросить, а после представил — чуете? — представил лично Дмитрию Петровичу самого немецкого аса!..

Корзунов приподнял кверху прокуренный указательный палец, хотел сказать что-то значительное, но только пожал плечами.

— Мать честная! — не выдержал Галкин. — Вот тебе и Митяй — лапоть деревенский!

Все глаза уставились на Митю. Он не торопясь, степенно пережевывал хлеб с салом и аппетитно похрустывал чесноком.

— Во потеха была! — восторженно воскликнул Корзунов. — Немец здоровенный, рожа красная, вся в пластырях, шея перебинтована... Митька напротив его что блоха... Переводчица, как положено, растол-

ковала пленному, кто да как сделал ему хенде хох, то есть мах на солнце — бух на землю. А он все хлопал обгорелыми ресницами и мотал головой. Дескать: «Нихт ферштейн... Не понимаю... Не может быть!» Но потом ас расчухал, что к чему, и так это здорово щелкнул каблуками, что-то быстро заболботал по-своему и протянул руку Митяю. А Дмитрий Петрович стоит перед ним эдаким фертом и говорит: «Не буду я всякому гаду руки совать... Пошел к черту!» Ну и смеху было!

— Дмитрий Петрович! — зашумели мы. - Расскажи, пожалуйста, как ты заарканил немца. Сам расскажи...

Митя водил осоловевшими от сытной пищи и тепла глазами по заросшим лицам бойцов и плохо соображал, что от него хотят.

— Давай, Митрий! — ласково уговаривал Галкин. — Уважь старика, расскажи, как объегорил-то бешеного.

Митя сладко зевнул, вытер губы рукавом ватника и нехотя сказал:

— Ну чего там рассказывать... Взял да перегородил... Вот и весь сказ...

У Галкина отвисла нижняя челюсть. В блиндаже стало так тихо, что слышно было, как трещит фитиль в банке. Где-то далеко-далеко погромыхивала артиллерия, а чуть поближе ворчливо переговаривались пулеметы. Бойцы молчали. Они-то понимали, что скрывалось под скупыми, по-детски бесхитростными словами Мити: «Взял да перегородил...»

— Сообразил! — восхищенно произнес Галкин. — Прямо диво!

Митя поскреб голову и сонно произнес:

— Не такое на телеграфные столбы вешал да таскал... Подумаешь!

Позевывая, он рассказал, как «заарканил бешеного».

Митя сделал то, что не всякий взрослый смог бы. Он один, ночью, под носом у немцев, сумел взобраться незамеченным на высокие деревья, втащить туда концы телефонного провода и накрепко прикрутить их к толстым веткам. Но, чтобы перегородить довольно широкую просеку, надо было закрепить провода и на противоположных деревьях. Этого сделать Митя не успел — одной ночи не хватило.

Он боялся, что обыкновенные телефонные провода ничего не сделают «мессершмитту», и для надежности кое-где присоединил к проводам стальные куски тросов. Тросы были хоть и тонкие, но старые, с заусеницами. Митя изранил себе руки, они кровоточили и болели. На следующую ночь он уже не смог влезть на дерево и отлеживался дома, если «домом» можно было назвать полузатопленный подвал под грудой камней и обожженных бревен.

Но Митя был упорен. Он обмотал руки тряпками, с трудом натянул брезентовые рукавицы и вечером снова собрался к просеке. Но немцы, будто почуяв что-то, начали с ожесточением бить по деревне из тяжелых минометов. К просеке нельзя было добраться.

Удалось Мите закончить свою рискованную и тяжелую работу только на четвертую ночь.

— Вот вам и Митька! — восхищенно произнес Корзунов. — Не смотри, что увален да тихоня, — голова варит!

Но Митя уже спал. Он положил голову на перевязанные бинтами руки и потихоньку посапывал носом. Тень от его кудлатой головы причудливо чернела на белой простыне, а один вихор уперся в порожнюю банку из-под свиной тушенки.

Корзунов осторожно положил тяжелую ладонь на спину Мите и шепнул Галкину:

— Вооружайся с утра мылом, мочалкой... Приведешь в порядок Дмитрия Петровича. Ясно?

Галкин, то ли от выпитого, то ли от сытной еды, охмелел.

— Чего не понять... Я... — никак не мог он выразить свою мысль.— Я еще в гражданскую...

— Ну чего ты там в гражданскую? — не вытерпел Корзунов. — Клопов давил, что ли?

Галкин часто-часто заморгал покрасневшими веками.

— Ну ладно уж, — махнул рукой Корзунов, — валяй... Трави свои истории...

Галкин настороженно покосился на Корзунова и начал:

— Так вот... страсть как хотелось мне, братцы, постоять за молодую советскую власть! Не смотрите, что я хлипкий... Сучок неказист, а крепок! Я был отчаянный! Да вот грыжа меня ела в ту пору... И верно, клопов давил... Белобилетником числился... А в финскую войну грыжу вылущили — так стариком сделался... Опять не берут! Ядрена корень! Ну прямо беда! Э, думаю, Афанасий, выпал ты из жизни, как та ворона из гнезда. А как началась вторая мировая, моя старуха возьми да скажи: «Ну, Афанасий, теперь ты совсем ветхий, никудышный. Сиди уж на печи да чади своей носогрейкой...»

Где-то близко заревели немецкие «ишаки» — многоствольные минометы. Галкин умолк, с опаской поглядывая на бревенчатые перекрытия.

Корзунов швырнул в темный угол окурок, поплевал на обожженные пальцы и сказал:

— Ну и даешь ты, Галкин! Уж больно здорово у тебя получается! Давай ври дальше...

Галкин вздохнул и сказал:

— Так на чем это я остановился?

— Что ветхим стал, — подсказал Корзунов и многозначительно подмигнул. — Никудышным...

— А, ну-ну, — закивал головой Галкин. — Так вот... От этих самых слов мне так обидно стало — не передать! Сказала бы: «старый»... А то — «ветхий»... «никудышный»... Ушел я из дому да и пристал к воинской части. Уж не припомню, чего брехал, но пожалели меня, старика. Казенную одежонку выдали... А потом и вовсе зачислили... Вот теперь я хоть и плохонький солдат, а — солдат! Глядишь, жив буду, и



я с орденишком припрусь к своей старухе. Во будет потеха! Так я говорю, сынки?

— Так, Галкин! — дружно поддержали его. — Верно! А как же!

Утром командир взвода разбудил Корзунова и меня.

— Дмитрия Петровича приведите в надлежащий вид, — шепотом сказал взводный. — Завтра отвезут его на аэродром и — на Большую землю. Пацанам воевать нечего, успеют...

А я никуда не поеду! — неожиданно сказал Митя, будто и не спал. — Вот еще придумали!

Он быстро натянул огромные, негнущиеся кирзовые сапоги, перекинул через плечо противогазную сумку, из которой торчала буханка хлеба, и направился к выходу.

— Я еще за своего батьку не разделался! — мрачно произнес он. — Мне никак нельзя отсюда...

Митю уговаривали долго. Он был непоколебим и только упрямо мотал головой.

— Сказал, нет — значит, все! Точка!

— Ну вот что, Дмитрий Петрович, — нахмурившись, сказал взводный. — Ты это брось! Нельзя тебе здесь оставаться, смерть кругом...

Митя хмыкнул и с ехидцей заметил:

— Медаль нацепили, а самого в тыл, к бабам! Да?..

В светлых глазах взводного появились смешинки, а лицо оставалось серьезным:

— Ты ведь мужчина, Митя, настоящий солдат! А солдаты приказы не обсуждают...

— Ну ладно, — наконец согласился Митя. — Раз положено, поеду.

Взводный потрепал Митю за чуб и сказал:

— В шестнадцать часов ноль-ноль минут быть здесь. Отсюда доставят тебя на броневике прямо на аэродром, как генерала... Пиши нам, Дмитрий Петрович... Не забывай...

— Не забуду... — потупившись, ответил Митя. — Напишу. А то кому ж еще? Больше некому...

4

На ВПУ все чаще стали прибывать офицеры из дивизии, штаба армии. А один раз приезжал из штаба фронта старенький генерал, специалист по военным сооружениям. Он долго ходил по всем блиндажам, деликатно покашливал в сухой кулачок, что-то записывал и высчитывал.

После генерала гостей зачастило еще больше.

А в тот день, когда собирались отправлять в тыл Митьку, на ВПУ

прибыл подполковник-связист из штаба фронта. Прикатил он средь бела дня на черной эмке; кое-где на дверцах машины проступала старая краска. От подполковника за версту несло «Шипром». Бойцы не сводили глаз с его бесчисленных ремней и вызывающе блестевших сапог; в них было что-то волнующе мирное, отчего страшно щемило на сердце.

Подполковник поправил портупею и спросил:

— Ну-с, так где же ваш главковерх, лейтенант Мещерин?

— Вы бы лучше спустились в блиндаж, — вместо ответа предложил Корзунов. — Немцы рядом... Иногда стреляют...

— Неужто?! — притворно удивился подполковник. — А я, представьте, не знал...

Из хода сообщения с трудом выбрался взводный. Он был перепачкан в глине, на рукаве торчал клок серого сукна.

— Какого еще дьявола принесло сюда! — крикнул он, не заметив подполковника. — Галкин, Корзунов! Черт возьми! Кто приперся на этом лакированном сундуке? Где шофер?

Подполковник заметно покраснел, но овладел собой и спокойно сказал:

— Лейтенант, вы всегда так гостеприимны?..

Взводный небрежно приложил руку в испачканной в ржавчине и грязи пилотке и не очень-то приветливо ответил:

— Здесь вспомогательное полевое управление — ВПУ... А не, простите... театральный подъезд...

Подполковник покосился на взводного, но все же приказал шоферу перегнать машину за противотанковый ров.

— Давайте знакомиться, — примирительно сказал он. — Офицер отдела связи штаба фронта — подполковник Лаврентьев. Не стоит из-за пустяков лезть в бутылку... Не правда ли?

Укрывшись за мощными перекрытиями главного блиндажа, Лаврентьев совсем миролюбиво сказал:

— А знаете, лейтенант, пока я ехал к вам, представьте себе, немцы засекли эмку и прямо-таки всю дорогу салютовали мне... То шарахнут миной впереди машины, то позади... Вилка! Вот-вот накроют! — подполковник щелкнул пальцами и заключил: — А ведь и в этом, разрази меня гром, есть какая-то щекочущая нервы романтика! Вы не находите?

— Какая там к дьяволу романтика! — возразил взводный. — В человека стреляют, как в глухаря... Романтика...

Лаврентьев был энергичен. Приказания так и сыпались у него одно за другим. На ВПУ через несколько часов стали прибывать связисты, саперы. А к середине дня, страшно урча, приехала огромная машина-радиостанция. Послышались голоса радисток, девичий смех...

Взводный так и сыпал «дьяволом». Но он был бессилен унять энергию напористого Лаврентьева. Демаскировалось ВПУ...

Следом за радиостанцией неожиданно пришли на ВПУ Митя и Галкин.

Митю трудно было узнать. Он был пострижен, лицо его лоснилось от непривычной чистоты. А когда Митя снял с головы новенькую шапку, Корзунов даже ахнул!

Волосы у Мити оказались точь-в-точь такие же, как у сержанта Корзунова: белые! Может, чуть-чуть потемнее.

— Гляди, пехота! — восхищенно говорил Корзунов. — Дмитрий Петрович-то белобрысый, вроде меня! Ха-ха... Во здорово!

— А глаза-то карие, — ехидно заметил Галкин, — добрые... Не то, что у некоторых сержантов — с зеленой водицей...

— А вы почему здесь? — спросил неожиданно появившийся взводный. — Вас еще недоставало на ВПУ!

Галкин выдернул руки из карманов и беспокойно забегал глазами.

— Виноват, — бормотал он, — гляжу, пятый час... Ну, думаю, забыли про Митьку...

Митька вовремя пришел на выручку оробевшему Галкину. Он както неловко протянул взводному довольно объемистую корзинку; в ней виднелась свежевыкопанная крупная картошка.

— Вот... — по-взрослому сдвинув белесые брови, сказал Митя, — будете в Колпино — передайте нашей учительнице... Вере Андреевне... Ранило ее здесь на переезде...

Взводный привлек к себе Митю, поправил ему шапку и спросил:

— А не Савельева ли твоя учительница?

— Савельева... А что?

Взводный метнул в сторону Галкина тяжелый взгляд и сказал:

— «Тертый калач»... Вот куда «сплавлял» картошку соловей-то наш фронтовой...

Последние слова взводного растворились в страшном грохоте. К небу взметнулись горы щебня, грязи...

— Началось, братцы! — послышался будто из-под земли голос Корзунова. — Держись, пехтура!

— Всем в блиндаж, живее! — приказал взводный. — Корзунов, гони сюда радисток...

Но уже было поздно. Второй снаряд накрыл радиостанцию.

Высоко, в туче крошева и пыли, одиноко кружилось колесо от автомашины, и не успело оно возвратиться на землю, как новый чудовищный взрыв потряс двенадцатинакатные перекрытия блиндажа. Погасли лампы, неприятно заскрипели огромные столбы-подпорки, послышался угрожающий шорох осыпающейся земли...

От очередного взрыва распахнулась тяжелая дверь-времянка. Раскаленный воздух, обжигая лица, вихрем ворвался в блиндаж. Все невольно попятились назад.

И тут мы услышали надрывное ржание лошадей.

— О господи! — бормотал Галкин. — Ни за что пропадает скотина...

— Чьи кони? — спросил взводный.

— Капитана Мишакова, из полка связи, — ответил Корзунов. — С двумя телефонистами приезжал на радиостанцию...

— А кони-то! — вздыхал Галкин. — Кони привязаны...

— Я сбегаю! — звонко выкрикнул Митя. — Мигом справлюсь...

— Я тебе сбегаю, дьяволенок! — пригрозил кулаком взводный и сам направился к полуоткрытой двери.

— Отставить! — спокойно, но твердо сказал подполковник. — Даже две лошади не стоят одной человеческой жизни...

И вдруг Митька рванулся к выходу.

Это произошло так быстро, — никто не успел помешать ему.

Корзунов бросился вслед за Митькой.

— Да пропустите же! — расчищал он себе дорогу локтями. — Черт вас возьми!

— Назад! — крикнул подполковник. — Сейчас же назад!

Было слышно, как Корзунов заскрипел зубами.

— Братцы, глядите-ка! — не своим голосом закричал Галкин. — Митрий коней развязывает... Митя, сынок, давай сюда! Пес с ними, с лошадьми-то! Горят они пропадом! Ах ты, господи!

Митя, будто ни в чем не бывало, возился у столба, к которому были привязаны кони. На спинах и запавших боках лошадей кое-где струйками стекала кровь. При каждом взрыве они громко ржали и, дрожа всем телом, рвались на крепких ременных поводьях, вставали на дыбы.

— Э-эх, пропадет парень! — заревел Корзунов и рванулся к выходу.

Он быстро перерезал ножом сыромятные ремни; кони вздыбились и, громко всхрапнув, ускакали в разные стороны. Корзунов схватил Митьку за руку и, пригибаясь к земле, побежал с ним к блиндажу.

Когда до блиндажа осталось уже совсем близко, Митя остановился и начал быстро водить одной рукой по ватнику. Глаза его округлились, и он, чуть не плача, крикнул:

— Медаль! Медаль потерял...

Он неожиданно вырвался от Корзунова и побежал обратно к столбу.

— Черт! — простонал Корзунов. — Быстрее!..

— Нашел! — крикнул Митя. — Нашел! Вот она!..

Помахивая медалью в воздухе, он вприпрыжку бросился к блиндажу.

Уже у самого входа Митя вдруг споткнулся и упал ничком; и почти одновременно раздался оглушительный грохот. Звук разрыва был так близок, что напоминал во много раз усиленный треск разрываемого холста. Искореженная дверь с силой захлопнулась, снова отворилась и окончательно сорвалась с петель. По блиндажу гулко застучали

камни и комья земли; потянуло сизым, до тошноты сладковатым пороховым дымом.

Когда дым и красноватая пыль немного развеялись, мы увидели, что Митя лежал в той же позе, лицом вниз, а Корзунов с трудом встал на ноги и шатался, точно с похмелья.

Взводный и я бросились к выходу. Следом за нами, подобрав замызганные полы шинели, засеменил Галкин.

Взводный подхватил Корзунова, а я и Галкин перевернули Митю на спину.

Митя смотрел широко открытыми, чуть удивленными глазами в низкое угрюмое небо, по которому вяло ползли с запада рваные тяжелые облака.

— Митрий! — недоуменно произнес Галкин. — Митька, сынок, да ты что! Митрий Петрович...

У Корзунова судорожно катался заросший щетиной острый кадык, что-то громко булькало в горле. Взводный несколько раз обратился к нему, но он не отвечал.

Только сейчас мы заметили, что у Корзунова из правого уха сочилась кровь.

Взводный положил руку на его плечо и снял с головы пилотку.

Стало тихо. Словно никогда и не было страшного грохота, скрежета, треска... Артналет прекратился так же внезапно, как и начался.

Взводный с трудом извлек из окостеневших уже пальцев Мити медаль и прикрепил ее прямо на ватник.

...Митю похоронили у шумящей на осеннем ветру березки вблизи той самой лесной просеки, где он совершил свой первый подвиг. На издырявленный осколками верстовой столб Корзунов приделал жестяную пятиконечную звезду, а я выбил гвоздем:

«Дмитрий Петрович Варенцов. Погиб 26.10.1941 года».

Взводный достал из полевой сумки огрызок химического карандаша и, тщательно выводя каждую букву, добавил:

«Рожден для добра и подвигов. Умер героем!»

Бойцы задрали к небу стволы винтовок и защелкали затворами.

Взводный будто и не слышал сухого треска винтовочных выстрелов. Он смотрел в сторону Колпина, глаза его странно блестели.

Там, над призрачно чернеющими развалинами, одиноко возвышалась кирпичная заводская труба; вершина ее была отбита, а посередине зияла огромная круглая дыра, пробитая насквозь снарядами. Из отверстия искореженной, казалось бы мертвой, трубы деловито клубился озорной розоватый дымок...

А еще дальше, почти у самого горизонта, вставало багровое зарево пожара; и в том месте свинцово-серое небо быстро покрывалось ватными клочками разрывов.

Над осажденным Ленинградом шел воздушный бой.

А. Адев

АВРОРА МИХЕЕВА



Осень была дождлива. Но, как ни странно, легче всего добраться до батальона связи оказалось болотом. Словно луг, опушенный по далеким краям лесом, протянулось оно на несколько километров. Толстый мягкий слой моха процеживал воду: под ногами похлюпывает, зато уж никакой грязи; только с непривычки тревожно. И тяжело без сноровки.

Обыденно, деловито потрескивал огнем передний край. Лениво ухали вдали пушки. На болото тоже залетали снаряды. Но я скоро перестал останавливаться и прислушиваться к их полету: они пробивали мох и не взрываясь уходили в трясину. Свист, громкий чмок — и на зеленой поверхности ржавым пятном проступает изнанка болота. Таких пятен много, и я обходил их подальше.

Добравшись до леса, я пошел по скользкой черной тропинке, затем по дорожке — настилу из затесанных жердей.

Штаб батальона размещался в срубленном из неокоренных бревен домике. Маленькие окна были затянуты калькой, тяжелая дверь сколочена из толстых неровных досок.

Из штаба меня направили в распоряжение командира радиовзвода. «Иди на стук движка, — сказал мне писарь. — Там будет радиостанция РСБ. Они уж покажут, куда надо».

Смеркалось. А я все еще брел по насыщенной влагой земле. Треск движка казался таким же далеким, как и в начале пути. Я вышел на небольшую полянку. Будто из-под земли доносился писк морзянки.

— Аврора Михеева слушает! — прозвучал низкий сипловатый голос.

Я невольно представил себе пожилую женщину с папиросой в жел-

тых зубах и усталым лицом. И так это мне показалось нелепо, необыкновенно. Не разбирая дороги, я ринулся на голос.

У входа в землянку я сбил с сапог комья налипшей глины и спустился по скользким ступенькам.

— Кто там? — спросили тем же сиплым голосом.

— Я ищу командира радиовзвода...

— Заходи сюда.

Согнувшись, я вошел.

Прямо напротив входа, у стены, над столиком висела яркая лампочка. Под ней — панель радиостанции. С обеих сторон столика — два земляных ложа, застеленных еловыми лапами. Под столом — какие-то ящики. Посреди землянки — ведро и консервная банка. Видно, обитатель землянки вычерпывал скопившуюся воду.

Запищал телефон.

— Аврора Михеева слушает! — сказал в трубку мой новый знакомый тем самым голосом, который я только что чуть не принял за женский. — Есть взять аккумуляторы с зарядки... Новенький?.. Ты к нам? — спросил он, оторвавшись от трубки, и, когда я кивнул, ответил: — Здесь он, у меня... Поместимся.

Я разглядел сержантские лычки на его погонах.

— Каминкин, командир взвода, приказал тебе оставаться у меня. Вот твоя койка, — показал он. — Я — начальник радиостанции. Фамилия моя Михеев. Аврора — наш телефонный позывной. Понятно?

Я молча кивнул головой, потому что Михеев уже прислушивался к захлебывающемуся писку. Потом он взялся за телеграфный ключ, под столом загудело, замигала индикаторная лампочка.

Началась моя жизнь в радиовзводе.

Наступила зима. Наши части продолжали занимать оборону, и радиостанции молчали. Писк морзянки доносился только из землянки, где тренировались радисты. Все у нас тут было, как на настоящих курсах: занятия по расписанию с девяти до трех, с четырех до семи — хозяйственные работы, после ужина — самоподготовка. Тревожными ночами мы ходили в боевое охранение.

Батальон понемногу пополнялся людьми. Тогда-то и появилась у нас тихая голубоглазая девушка — Саша Васина. На ее круглом лице словно застыло выражение удивления. Щеки, покрытые нежным пушком, казались припудренными. Она была спокойна, молчалива, улыбалась редко и будто по принуждению. Коренастая, светловолосая, такая, в общем, обыкновенная, она была все же первой девушкой во взводе, и это делало ее заметной фигурой. А особенно мы оценили ее, когда она чуть ли не каждый день с готовностью отправлялась на кухню, чистить картошку, избавляя нас от этого неприятного занятия.

Размещалась Саша вместе с нами в землянке, которая служила и жильем и классом. Здесь, между столбами, на которые опиралась балка наката, стоял стол с телеграфными ключами и зуммером. Вдоль стен в два яруса — нары. Место Саши отличала только простыня, пологом закрывающая ее постель. У остальных, конечно, никаких простыней не было.

Одновременно с Васиной появился еще один радист — Павел Фанпилов. От него-то мы и узнали, что Саша одна из немногих, кому удалось глубокой осенью вырваться из окружения под Мясным Бором.

Как-то вечером, когда аккумулятор безнадежно разрядился и землянка освещалась гудящим пламенем печки, мы сидели и смотрели в огонь. Саша дежурила на радиостанции. Фанпилов пришивал подворотничок на гимнастерку. На погонах у него еще сохранились кавалерийские эмблемы. Зашел разговор о второй ударной армии, где Фанпилов служил вместе с Васиной.

— Песня у нас такая была, — говорил Павел, - «Генерал, товарищ Власов. . .» Завел этот «генерал, товарищ Власов» свою ударную армию в леса и сдался врагам. Штаб еще предал свой. А мы, хоть и окружили нас фашисты, не собирались сдаваться. Наш кавалерийский полк стал пробиваться к своим. Ну и другие полки — тоже. Нелегко было. Кругом враги, и неоткуда ждать подмоги. Ни продовольствия у нас, ни коней скоро не осталось. Брели мы лесами и болотами, не рисковали по пустякам, не связывались даже с небольшими группами фашистов. Обходили их стороной. Не хотели себя обнаруживать, да и патроны берегли. Жизни свои задешево отдавать тоже не хотели. Знали: через линию фронта пробиваться придется — уж там ни патронов ни жизни жалеть не будем.

И добрались до фронта. Тут фрицы нас напоследок нащупали, да и поднасели. Но удалось нашим двоим (а уходило двадцать) к своим перебраться. А оттуда по рации передали нам о дне и месте, где прорыв делать. И в день этот такого огонька фрицам дали! Уж такого! . . А для прохода нам настоящий огненный коридор сделали. Слева-справа стеной земля и металл поднялись, а посредине — дорожка. И хоть неширок он был, этот коридор, и колюч, но мы прошли. Не все, конечно. . . Да не все еще и дошли до него. . .

Мы продолжали молча сидеть у огня. Печка прогорела. Стало виднее пламя коптилки.

— Она, — тут Павел понизил голос и слегка кивнул в сторону койки, завешенной простыней, — она дружка там оставила. Лейтенант. Ранен был в грудь навылет. Тащили мы его несколько дней по очереди на себе. Видел он, что сами-то еле на ногах держимся. Раз ночью отполз в сторону, в овражек, и — бах в висок себе. . .

Павел развел руками.

— Не усмотрели. Надо было у него пистолет отобрать. Ей не подска-

зали мы, сами постеснялись: у мертвых оружие забирали только. Побоялись обидеть, молчали... Она до сих пор себя корит. Как только перенесла все! Бредит еще, бывает...

— Слышали мы, — тихо сказал кто-то из ребят.

Прошла зима. Фронт наш перешел в наступление. Мы наконец-то оставили обжитые землянки, повытаскивали из них радиостанции и установили на автомобилях, которые тоже выкатили из укрытий. Жизнь наша на колесах стала совсем другой. От старого сохранились только телефонные позывные.

Команда Авроры Михеева собралась теперь вся вместе. Зато с батальоном мы расстались и двигались в штабной колонне. Начальник радиостанции сидел в кабине с шофером Жорой Слепухиным, я — в кузове. Саша не переносила тряски в закрытом фургоне и, хотя Михеев всегда готов был потесниться в кабине, предпочитала ехать на крыле. Жора ворчал: «Вот выбросит где-нибудь на ухабе, отвечай тогда за тебя!» Но Саша покидала свое любимое место, только когда Жора останавливал машину ночью на какой-нибудь лесной дороге и в отчаянии вопил: «Не поеду, пока не уберешься в кабину!» Однако, едва рассветало, мы снова видели Сашину кубанку с красным верхом над крылом автомобиля.

Однажды, в середине дня, мы остановились у разрушенного хутора.

Колонна машин быстро рассредоточилась между хозяйственными постройками. Мы тоже подогнали радиостанцию к стене, на которой огромными синими буквами было выведено: «Gott mit uns!» («С нами бог!») Краска была совсем свежая. Видно, хозяин усадьбы пытался поддержать дух отступающих вояк. Уж очень ему не хотелось расставаться со своим владением.

Мы подняли лучи антенн на уцелевшие макушки дубов. Связались со штабом соединения. Приемник у нас был постоянно настроен на волну авиации. Можно было включиться и на передачу, вмешаться в переговоры наших летчиков, указать им ту или иную важную цель.

Жора не успел еще натянуть маскировочную сеть, как поступило приказание: «Авроре Михеева обеспечить «нитку» к наблюдательному пункту». НП расположился в двух километрах от нас на высотке. Появление его означало, что мы достигли рубежа обороны противника и предстоит бой.

Телефонные линии — не наша специальность, но линию на НП надо, а телефонисты — не успевают, они опять где-то позади собирают свои «нитки».

Мы с Михеевым, нагрузившись тяжелыми катушками с кабелем и аппаратами, отправились наводить линию через низинку к видневшейся вдалеке роще. Саша осталась дежурить на радиостанции.

Мы уже возвращались назад, когда услышали знакомый вибрирующий гул самолетов.

Фрицы!

Раздался сверлящий голову вой падающих бомб. Было видно, как забегали в усадьбе люди, скрываясь в ямках и щелях. Стена, около которой стояла наша машина, осела, от нее рванулась в стороны пыль, и все заволокло дымом. Мы бросились на землю между двух больших валунов. И вовремя: три близких взрыва словно ударили по всему телу, забросали комками земли. И стало тихо.

Вдруг снова, как далекое зловещее эхо, возник гул моторов. Он стремительно нарастал. Мы чуть проползли по склону и съехали по рыхлому откосу в воронку. Окунулись в кисловатый запах пороха и только успели втянуть к себе за провод катушки и аппарат, как над нами проревели самолеты: один, другой, третий...

— Наши! — вдруг заорал Михеев. — Смотри, наши!

И сразу меня точно оторвало от влажной земли. Вслед за Михеевым я навалился на мягкий край воронки, провожая взглядом стайку зеленых «ястребков». Они скрылись в той стороне, где только что стих гул фашистских самолетов.

Наверху, на хуторе, еще стелились клубы пыли и что-то горело. Мы включили в линию телефон.

— Как слышишь, Патрубок? — спросил я.

— Хорошо, — раздался обрадованный голос телефониста. — Целы? Я видел, около вас посыпали...

— У нас порядок. Дай Аврору Михеева,

Легким треском индуктировался в трубке вызов, еще один, и еще...

— Молчит Аврора, — тревожно ответили с хутора.

— Посмотрите... что там? В машине одна Васина!

— Посмотрим. А вы проверьте линию: Груша не отвечает.

Груша — это НП, и нам пришлось вернуться отыскивать обрыв.

...Молчит Аврора!.. Саша Васина заняла в нашей жизни особое место. Она стала не просто хорошим товарищем, другом. Было приятно, когда ее рукой тебе пришита пуговица, подворотничок, проутюжено белье. А разогретая каша или похлебка! Ею разогретая.

Ее заботы чаще всего относились к нам, членам экипажа. Но когда ее внимания удостаивался кто-нибудь из товарищей по взводу, нам становилось немного досадно, словно только мы имели исключительное право на ее заботы. Я-то внешне никак не проявлял в этих случаях своего неудовольствия, но Михеев вдруг начинал нас называть на «вы», для всех у него сразу находилось дело, и такие начальственные нотки появлялись в его голосе, что Жора Слепухин выпячивал свою пухлую нижнюю губу и уходил в кабину, бормоча, что уж, конечно, шоферу не хватает места в кузове.

...Молчит Аврора!..

Саша Васина была нашей совестью. Все свои дела, совершенные и предстоящие, как-то невольно мы оценивали глазами Саши. Как будто

она была вездесуща и все могла знать и видеть. А уж если могла видеть, — если надо было, скажем, вырыть укрытие для машины, то мы так старались один перед другим, что успевали это сделать раньше других экипажей, несмотря на то, что Саша и к лопате не прикасалась.

Когда в части появлялся военторг, мы без сожаления отдавали половину своего месячного содержания за какие-нибудь духи, а потом, потихоньку друг от друга, со страшным смущением вручали ей эти «жасмины» и «сирени».

Охраняли мы ее и от воздыхателей всех возрастов и рангов. Саша часто сердилась на нас за наши неуклюжие рыцарские выпады, особенно когда они относились к начальству и могли иметь неприятные последствия.

... Молчит Аврора!..

Обрыв линии оказался недалеко, и мы с Михеевым, срастив концы провода, понеслись назад.

Поднялись по склону. Около нашей машины — свежая воронка. Невдалеке словно сплющенное истерзанное тело в побуревшей гимнастерке. Рядом продырявленный котелок, на нем крупно нацарапана фамилия: «Нуйкин». Этот котелок частенько гостил в нашей машине...

Стена рассыпалась; вокруг автомобиля валялись камни. Мы подошли к подножке, не решаясь подняться в кузов. Машина наклонилась набок. Деревянные стенки были взлохмачены осколками.

Запищал телефон. Мы вздрогнули. И вдруг:

— Аврора Михеева слушает! Да, да... Принято в четырнадцать тридцать. Нет, нет...

Дальше последовал текст шифровки, а мы с Михеевым, не сговариваясь, достали кисеты и уселись на валун.

В машине курить не полагалось, и мы твердо придерживались этого правила, но, когда Саша передала шифровку, мы, забыв о своих цигарках, поднялись по ступенькам и открыли дверь.

Саша сидела не на обычном месте радиста справа у окна, а в проходе на маленьком ящике. В стенках светились дыры и дырочки. Сквозило, потому что стекла вылетели.

Саша повернулась к нам.

— Наконец-то восстановили линию, а то одна: из машины не выйдешь, а радиограммы так и сыплются, — сказала она. — Вон сколько накопилось...

В динамике у приемника, что стоял в левом углу стола, вдруг застрекотало, захрипело и быстрая речь погасила эти звуки:

— Я Гром третий, левее озера над лесом чешут еще два фрица.

Ему ответил другой, такой же торопливый:

— Я Гром первый. Понял, понял тебя, вижу. Третий, заходи слева, четвертый — прими правее. Второй — со мной. Жми их, жми к земле!..

Бой, длящийся минуты, проходил словно перед нашими глазами. Мы



«видели», как «пшикнул» в озеро вспыхнувший фриц, как рассыпалась в воздухе вторая вражеская машина, как «Петька», которого еще называли «Гром три», заходил в пике, сбивая пламя со своей загоревшейся машины. Накал боя стих. И тогда мы услышали:

— Полет, я Гром один. Как слышишь? Прием.

«Полет» — это был наш позывной для самолетов.

Саша страшно покраснела, включила умформер и взяла микрофон. Стрелка на шкале передатчика стояла на волне самолетов.

— Гром, Гром, Гром, я Полет, я Полет. Слышу отлично. Прием.

В ответ послышался шум, треск, какие-то неразборчивые слова. Видно, и Гром первый, и второй, и третий одновременно включились на передачу.

Саша недовольно поморщилась, посмотрела на нас и снова взялась за микрофон.

— Гром первый, Гром первый, слушаю тебя. Слушаю вас. Отвечает только Гром первый. Я Полет, прием.

— Полет, я Гром первый. За тебя, девушка, чарку поднимем, помянем фрицев. После войны на Кировском, у «Стерегущего», расцелуем. Привет.

— Я Полет, — невозмутимо ответила Саша. — Вас поняла. Связь кончаю. Прием.

Она поднялась и подошла к приемнику. Из динамика еще доносились прощальные пожелания, а Саша уже щелкнула тумблером.

Михеев молча взял со стола радиограммы и пошел в оперативный отдел. Стало слышно, как из аккумуляторов, что стояли на скамейке, капала щелочь.

— Банки попробивало,— сказала Саша.— А я, когда налетели, прямо на пол уселась — и вот ничего. . . — улыбнулась она, и снова на лице ее застыло выражение невероятной усталости.

Скоро окончилась война. Началась демобилизация, и распался экипаж Авроры Михеева. Первой уехала Саша. Родом она была с Алтая, но отправилась в Ленинград: ведь наша часть почти всю войну билась на рубежах Ленинграда, да и половина солдат были ленинградцы.

Спустя многие годы мы собрались отметить День Победы. Но Саши среди нас не было. Не удалось нам ее найти. Может быть, она вернулась в свое родное село Краюшкино; может быть, уехала на далекую стройку. . .

Потерялся ее след, но мы еще надеемся увидеть ее на очередной встрече экипажа «Авроры Михеева».

А. Шейкин

ДОБРОТА



Едва забрезжит рассвет, мать будила Славика:

— Вставай, вставай, мой маленький! Давно уже гудок прогудел.

Славик, не открывая глаз, тянул:

— Ну чего ты? Чего пристала? Рано еще, не хочу...

— Вставай, вставай, нечего матрас пролеживать. Ишь, неженка, — подавала голос сестра.

Она, уже одетая, в черной гимнастерке железнодорожника, пила «чай» — коричневатую безвкусную воду, кладя в рот кусочки томленой в духовке сахарной свеклы.

Наконец Славик поднимался, кое-как зашнуровывал ботинки, плескал на лицо горсть холодной воды... Все это делал он хмуро, стараясь не видеть чуть виноватое заплаканное лицо матери. С тех пор, как от отца с фронта перестали приходить письма, у нее всегда было такое лицо.

— У-у, — говорил он, садясь за стол на отцовское место у печки. — Опять картошка! Все картошка да картошка...

Ему не отвечали. Он принимался за еду.

Потом он натягивал ватник, подпоясывался ремнем, надевал шапку-ушанку и выходил на улицу, звонко колотя незаснеженную, глубоко промерзшую землю подкованными каблуками неуклюжих, непомерно больших рабочих ботинок, спешил вниз, под гору, туда, где виднелся двухэтажный наклонный дом.

Дом этот был верхним двором угольной шахты «Утиноозерская 1-2». Вот на этой шахте Слава и работал в маркшейдерском бюро.

Маркшейдерское бюро находилось в главной конторе. Светлая комната, уставленная письменными столами и шкафами, — обычная комната!

Но в шкафах... Чего только не было в этих шкафах... В одних лежали планы горных работ, чертежи, схемы, планшеты, в других — журналы измерений, в третьих (Славу как магнитом тянуло к этим шкафам) стояли ящики с геодезическими инструментами, поблескивавшими никелем, бронзой, линзами объективов: теодолиты, нивелиры, кипрегели, рулетки для измерения расстояний... В этой же комнате, за перегородкой, стояли штативы и висела спецодежда для выходов в шахту: брезентовые куртки и брюки, резиновые сапоги, защитные фибровые каски. Слава часами разглядывал это богатство, единственными хозяевами которого были они двое: он, Слава, и маркшейдер Иван Дмитриевич Двинин.

Маркшейдер — это подземный лоцман. Он указывает шахтерам направление, в каком надо вести под землей горные выработки. А когда выработки пройдены, делает съемку — составляет точную карту подземных коридоров.

У маркшейдера всегда много работы. И поэтому, как бы рано ни приходил Слава на шахту, он всегда заставал Двинина за своим столом, склонившимся над какими-то схемами и расчетами.

Так было и в этот раз. Увлеченный работой, Двинин даже не ответил на Славино «здравствуйте», и тот, проскользнув за перегородку, стал готовиться к выходу в шахту.

Вдруг Двинин позвал его.

— Послушай, Слава, во-первых, здравствуй, а во-вторых — вот тебе боевое задание, — Двинин протянул ему листок. — Высчитай дирекционные углы, приведи линии к горизонту, вычисли координаты. Это будет тебе вроде контрольной работы.

— Но ведь сегодня тридцатое число, — сказал Слава.

— Ну и что?

— Месячный замер. В шахту пойдем.

Двинин рассмеялся:

— Мы же не сейчас пойдем, Славик, часа через три. Чего тебе без дела сидеть?

Слава с сердцем швырнул на стол фибровую каску, которую уже было надел на голову, и взял листок из рук Двинина.

— Это обязательно сегодня нужно? Сейчас?

Он заглянул в листок: углы обозначались буквами, как в школе: А, В, С... Учебный пример!

— Это очень интересный случай, Славик, — продолжал Двинин. — Сумма углов здесь каждый раз переходит через триста шестьдесят. Надо уметь не запутаться.

— Это сегодня, это для работы нужно? — повторил Славик.

Двинин перестал улыбаться и как-то даже испуганно посмотрел на Славика.

— Во всяком случае, уметь это очень полезно. Тебе четырнадцать лет; к сожалению, жизнь твоя сложилась так, что ты рано оставил школу, работаешь...

— Еще бы, — вырвалось у Славика, — отец на фронте, мамка больная, а тут рабочая карточка...

— Но ведь не вечно же будет так, — перебил его Двинин. — Война окончится, тебе надо от других не отстать.

Это была старая песня. За те полгода, что Славик работал в маркшейдерском бюро, он слышал ее уже сто раз.

Ничего не ответив, Славик ушел за перегородку, плюхнулся на стул и уставился в листок, от злости не видя на нем никаких цифр и думая о том, что Двинин с этими его непрошеными заботами надоел ему как горькая редька.

Дверь за его спиной хлопнула. По голосу Слава узнал, что пришел начальник участка Рыбак.

— Ты вот что, Иван Дмитриевич, — услышал Слава, — ты к нам на участок до самого конца смены не приходи. А если раньше придешь, набрось там, сколько десятники скажут.

— Чудак ты, Федор, — ответил Двинин. — Дело ж не в том, когда я приду, а в том, сколько вами на восемнадцать часов будет сделано. Я могу и позже прийти. А восемнадцать часов — это для замера официальный срок. Все, что потом сделают, на другой месяц пойдет.

— Ну, — воскликнул Рыбак, — будущего месяца мы не боимся! А в этом нам какие-то десятые процента до плана нужно добрать. Мы обязаны. Ты же знаешь, какой это месяц был: то кровлю жало, то воду откачать не могли... А народ работал геройски. И лишать людей премии из-за того, что не хватило жалких двух часов? Да ведь вся шахта без премии останется! Ну что головой мотаешь? Сам же без премии будешь сидеть.

Прислушиваясь к этому разговору, Славик все более злился на Двинина. «Бюрократ несчастный, — думал он. — Цепляется. Власть показывает».

— Сводку ведь ты все равно не сразу даешь, и к тому же потом главный подъем на ремонт остановится и добычи вообще почти сутки не будет.

«Ну а если на пятьдесят минут позже, — думал тем временем Славик, — так что? Или на пятьдесят минут можно, а на час уже нельзя? Какая разница? Десять минут? А всем людям из-за этого без премии оставаться?..»

— На два, на час, на полчаса позже, — как будто угадав мысли Славика, ответил Двинин. — Мы-то и прийти и написать что угодно можем. А то и вообще — чего лучше! — в шахту спускаться не будем. Возьмем

и напишем. А что это стране даст? Стране от нас не цифры нужны. Стране от нас уголь нужен...

Рыбак ушел. Славик продолжал сердито сидеть над примером, в утешенье себе думая о том, что главное — не все эти бумажки, а настоящее дело: работа под землей, в шахте, рядом с опасностью, когда, например, указываешь горноспасателям направление к заваленной выработке, а кровля над тобой трещит и осыпается...

Так прошел час, другой. Томительно тянулось время. Наконец Двинин сказал:

— Ну, пошли...

Славик стрелой кинулся к шкафу для спецодежды и через считанные минуты — в брезентовой куртке и брюках, в защитной каске, с полевой сумкой через плечо, с зажженной лампочкой в руке — гордо вышагивал впереди Двинина.

Замер шел как обычно. Приходили в забой. Славик доставал из полевой сумки рулетку, подавал ее Двинину, а сам, держа начало рулеточной ленты, подносил его то к земле, то к самому верху выработки, то к стойкам крепления. Местами он двигался в полный рост, местами полз на четвереньках, спиной касаясь низко нависшей кровли.

Славик любил дни месячных замеров. В эти дни их встречали в забоях с торжественностью: вот, мол, те высшие беспристрастные судьи, которые точно определят, насколько хорошо шла работа весь месяц.

Так было и в этот раз. И когда, обойдя участок Рыбака, Двинин тут же, в последнем забое, прикинул общее выполнение плана и сказал, что 100 процентов обеспечено, их обоих принялись поздравлять, жали руки... Слава сиял, будто именно он принес эту радость шахтерам.

Все было чудесно. Но на обратном пути Двинин вдруг отдал Славе свою полевую сумку, каску, снял куртку. Он не смог нести даже лампочку! Он был бледен, лицо его покрылось каплями пота.

Слава знал, что Двинин в самом начале войны был ранен и временами чувствовал себя плохо.

Вернувшись в маркшейдерское бюро, Двинин долго сидел молча, дрожащими пальцами барабаня по столу. Потом попросил Славика самого сходить на угольный склад и замерить остаток угля под эстакадой.

— Ты, Славик, — он говорил отрывисто, морщась при каждом слове, — только замерь. Я все сам вычислю. Длину, ширину, высоту... Если на верху штабеля площадочка, так и ее обмерь. Ты же знаешь, мы с тобой много раз это делали.

— Знаю, знаю, — подхватил Славик, больше всего на свете боясь, что Двинин вдруг передумает.

Прижав к груди рулетку и замерный журнал, он бросился из маркшейдерского бюро и все 800 метров, что отделяли контору от угольного

склада, пробежал единым духом. Однако в конторку склада он вошел не сразу, а прежде с минуту постоял у двери, подбирая слова, которые скажет заведующему складом Поручеву. И только решив, что прежде всего представится: «Я — Сухов, из маркшейдерского бюро», — шагнул через порог.

Впрочем, Двинин, видимо, уже позвонил на склад, потому что едва Славик вошел, Поручев — высоченный здоровый дядя — легко вскочил из-за стола и протянул руку:

— Здравствуйте, здравствуйте, Вячеслав Афанасьевич, — заговорил он, не дав Славе открыть рта, — ждем вас уже, ждем...

— Здравствуйте, дядя Вася, — еле слышно начал Слава, ужасно смутившись того, что его называют по имени и отчеству, — У Ивана Дмитриевича сердце схватило, так я за него...

Поручев опередил его:

— Да вы садитесь, садитесь, Вячеслав Афанасьевич...

Конторка была малюсенькая, с низким потолком, двумя крошечными окошками. В ней помещался лишь самодельный стол, крышка которого была прибита к обыкновенной тумбочке, стул, жестяная печка, за печкой — скамья.

На скамье сидели двое рабочих в полушубках и грели над печкой черные от угля и мазута ладони.

— Садитесь, садитесь, Вячеслав Афанасьевич, — продолжал Поручев, жестом приказав рабочим освободить скамью.

Рабочие недовольно встали и отошли от печки, а Поручев обнял Славу за плечи и почти силой усадил на скамью.

— Мы очень-очень рады, — говорил он, — что вы к нам пришли...

— У Ивана Дмитриевича сердце схватило, — повторил Слава. — Я пришел замер сделать.

— Знаем, — остановил его Поручев, широко разводя руки. — Знаем, что вам такое важное дело доверили, — он вытащил из-за стола стул и подсел к Славику, касаясь его колен своими и заглянул ему в глаза. — Как здоровье ваше? Мамаша как себя чувствует? — он достал из кармана блестящий алюминиевый портсигар и открыл его. — Закуривайте, Вячеслав Афанасьевич.

Слава, зардевшись, ответил:

— Нет, дядя Вася, я не курю.

— И правильно, — подхватил Поручев. — И правильно!

Он выгреб из поддувала уголек, прикурил. Рабочие, хлопнув дверью, ушли.

— Писем от вашего бати не было? — спросил Поручев совсем уж угодливым голосом. — Я ведь тоже в действующей служил, хватил всякого.

— Нет. Совсем ничего не было, — ответил Славик.

Поручев сочувственно потряс головой.

— Геройски сражается ваш отец, Вячеслав Афанасьевич. А сестрица ваша как поживает?

— Лизка? Лизка работает, — ответил Славик и встал. — Мне замер надо сделать. Так вы, дядя Вася, рабочего дайте, чтобы он конец рулетки держал.

Поручев озадаченно взглянул на Славика.

— Рабочего? Ну да. Один ты никак... А ведь ваше дело ох какое! Некоторые думают: чего они тут ходят да смотрят? А у вас в какой-нибудь цифре ошибись — беда! Труд скольких людей зря пропадет? А то ведь и обвал может случиться.

Не вставая со стула, он вдруг перегнулся и вынул из тумбочки уже открытую банку мясных консервов, глубокую тарелку с пшенной кашей и несколько больших ломтей черного хлеба.

— Что ж так идти, Вячеслав Афанасьевич, — проговорил он. — Закусить надо.

Как зачарованный глядя на еду, Слава несмело повторял:

— Мне рабочего, чтобы он конец рулетки держал.

— Зачем же рабочего? Я сам подержу. Вот подожди, — он вдруг перешел на «ты», — закушу только. Ведь я с утра до вечера мотаюсь, пообедать до сих пор не смог, — он вывалил содержимое банки в тарелку с кашей, достал две столовых ложки и протянул одну из них Славику. — Может, и ты со мной?

Уже много-много месяцев, чуть не с той самой поры, как началась война, Славик всегда хотел есть. А сейчас, в конце рабочего дня, да еще после того, как пришлось обойти чуть не всю шахту, при виде такой замечательной еды у него просто начала кружиться голова.

— Мы сейчас, — деловито продолжал Поручев. — Вот и чайничек поспел, сахарочек у меня есть, стаканчики тоже.

Он пододвинул к Славе тарелку.

И Славик не устоял. Глядя на Поручева блестящими от благодарности глазами, он съел и кашу, и консервы, и весь хлеб, и выпил два стакана чая. Поручев сам ничего не ел и только приговаривал:

— Я ведь добрый, парень, мне для хорошего человека ничего не жаль. Если тебя когда прижмет, заходи. Что будет — последним поделюсь. Не будет — не обессудь. А будет — что мое, то и твое. Так и знай. Дядя Вася — человек добрый...

Когда они вышли из конторки, машину главного подъема уже остановили на ремонт. Замерли вагонетки. На территории склада, на эстакаде не было ни души. Смеркалось. Восточная сторона неба потемнела, на ней показались первые, самые крупные звезды.

Держа конец тесмяной ленточки, Поручев суетливо и даже как-то подобострастно-угодливо взбирался на штабели и без умолку говорил,



по-прежнему величая Славу Вячеславом Афанасьевичем и повторяя, что Двинин совершенно правильно поступает, доверяя ему ответственные задания. Это была настолько откровенная лесть, что Слава просто не мог смотреть ни в сторону Поручева, ни вокруг, боясь больше всего на свете, что слова эти кто-нибудь слышит. Он не поднимал глаз от делений рулетки и от журнала, в котором вел запись.

И лишь в самом конце Слава вдруг заметил несоответствие. Получалось, что штабель, который они обмеряли последним, был чуть ли не самый большой из всех. Выходило, что высота его 8 метров, длина — 20, ширина — 14. А просто на глаз казалось, что в длину, пожалуй, он никак не больше 15 метров, а в ширину 10 или 12, если не меньше. Или, может, в сумерках расстояния на глаз всегда выглядят короче?..

Слава ничего не сказал, но, закончив все измерения и сматывая рулетку, обратил внимание, что первые метры ее как-то покомканы, помяты, словно кто-то туго собирал их в горсть. Быстро повернувшись, Слава посмотрел на Поручева и встретил его насмешливый наглый взгляд. Неужели он специально держал конец рулетки неправильно? Нет, нет, этого не могло случиться! Он же только что был такой внимательный, добрый!

— А вы, дядя Вася, хорошо конец рулетки держали? — спросил он, чувствуя холод на сердце.

Поручев решительно шагнул к Славику и навис над ним всем своим огромным корпусом:

— Кому ты это говоришь? Да я сам четыре года на замерах работал. Я точно все делал. А если ты где неправильно записал, ты уж на себя и пеняй...

В маркшейдерское бюро Слава вернулся словно пришибленный. Двинин поджидал его.

— Почему так долго? — спросил он тревожно. — Ты больше часа ходил.

— Поручев занят был, — проговорил Славик, не уточняя, чем именно был занят Поручев. — А мне же надо было, чтобы кто-то конец рулетки держал.

— Ладно, — сказал Двинин. — Давай скорей. Тут уже из треста звонили, спрашивали, какой остаток на складе.

Славик положил журнал на стол и, не дожидаясь, пока Двинин сделает вычисления, ушел домой.

А утром, когда Славик сидел за столом, по обыкновению давясь картошкой, к ним постучали. Это был Двинин — какой-то сутулый, нахохлившийся, словно на спине у него вдруг вырос горб.

Оказалось, что как только в трест сообщили остаток угля на складе, на шахту немедленно подали железнодорожный состав. Но загрузили

его только наполовину. Не хватило по крайней мере 800 тонн угля. А ведь по замеру, который делался вечером, эти 800 тонн были — и даже с лихвой! Так как главный подъем стоял на ремонте, не удалось загрузить состав и из текущей добычи.

Славик так и застыл, слыша только удары сердца, гулко отдающиеся в голове. Он посмотрел на мать и сестру и увидел их встревоженные взгляды.

Наконец он пришел в себя и с трудом выговорил:

— Я точно по рулетке смотрел. И записывал точно. Как рулетка показывала.

— Знаешь, Славик, — ответил Двинин, — видимо, на складе уголь так или иначе разбазарили, а при замере схитрили, надеясь перекрыть недостачу из текущей добычи, но как же они тебя-то вокруг пальца обвели? Кто хоть конец рулетки держал?

— Поручев.

— Сам Поручев?

Двинин схватил шапку, рукавицы и торопливо покинул комнату.

Тяжело шел Славик в это утро на шахту! Вот уж когда он действительно чувствовал груз в ногах!

В раскомандировке, в том помещении, где рабочие собирались перед началом смены, чтобы уже бригадами спускаться в шахту, на доске объявлений он увидел приказ: Поручева В. Ф. от работы на угольном складе освободить и перевести в навалоотбойщики. Дело о недостаче угля передать в прокуратуру. Маркшейдеру Двинину И. Д. объявить выговор. Вопрос о более строгом взыскании отложить до заключения прокуратуры.

Славик долго стоял у доски, перечитывая приказ. Рядом стояли рабочие.

Из их разговора он узнал, что об этом сегодня ночью был разговор у начальника шахты. Двинин сказал там, что ошибка в замере произошла по его вине.

Открыв дверь в маркшейдерское бюро, Славик увидел, что Двинин говорит по телефону.

Осторожно, стараясь не стучать ботинками, Славик прошел за перегородку и сел на краешек стула. И тотчас вскочил: перед ним на столе лежал листок с очередным учебным заданием!

— Что будет? — услышал он голос Двинина. — Выговор объявили, премии лишат; видимо, съемщиком на другую шахту переведут. Чего больше? Я уголь не воровал. Денежно пострадаю, да и обидно мне в съемщики идти. Ну чего ж тут доказывать? Виноват... Семья?.. Семья в любом случае до весны здесь останется. Куда я их сейчас потащу?

Слава услышал щелчок: Двинин повесил трубку. Держа в руке листок, он подошел к нему.

— Почему вы не сказали, что склад я обмерял? — спросил он, исподлобья глядя на Двинина.

Тот ответил не сразу. Он даже не сразу взглянул на Славика. Он смотрел на чертеж, расстеленный на столе. Славик узнал чертеж: это был план новой эстакады, которую должны будут строить после войны.

— Чудак ты, Слава, — ответил наконец Двинин. — Получается, я должен был все на тебя свалить? Мальчишка, мол, виноват. Простите его. Нет уж. Да и по закону за все твои действия я отвечаю. Такое уж это званье — маркшейдер!

— Но вы же не виноваты! — твердил Слава.

Двинин слегка улыбнулся и покачал головой:

— Нет, почему же? Я виноват. Я себя пожалел. Послал тебя к жулику.

— Как? — спросил Славик.

— На склад не пошел.

— Так вы ж не могли!

— Мог. Не так уж тогда я болел. Просто я добреньким к себе захотел быть.

— А Поручев, — спросил Славик, помолчав, — меня специально кормил, чтобы я во время замера не смотрел, как он ленту в кулак собирает? Да?

Двинин не ответил.

— Вы мне теперь ни в чем не поверите, — сказал Славик.

Он не спрашивал. Он подводил итог.

— Тебе? — Двинин несколько мгновений смотрел на Славу, прищурясь и склонив голову набок. — Поверю, — он упрямо крутнул головой, взял со стола журнал и, закрыв его, протянул Славику. — Пойдешь сейчас на второй горизонт, на седьмом квершлаге точку пятьсот девяносто пять найдешь, влево семьдесят сантиметров отмеришь, маркшейдерский гвоздь вобьешь, отвес повесишь, десятнику покажешь. Он сам с пятьсот девяносто четвертой направление через твой отвес в бок забоя возьмет. Там у них плавный поворот идет под откатку. Пока такой точности хватит, а потом я с инструментом пойду, по всем правилам направление дам. Ну, марш!

Когда Славик пришел в забой и раскрыл журнал, он увидел, что там указано расстояние не 70 сантиметров, а 170, и не влево, а вправо. Но, отмерив такое расстояние и повесив отвес, он обнаружил, что получается очень резкий поворот, и не в ту сторону, куда он уже шел, а в другую. Вернуться к Двинину? Но направления уже ждали, чтобы продолжать работу, и, как только Слава пришел, проходчики обступили его. Они сразу же догадались, что Славик чем-то озадачен.

И тут он увидел Поручева. Он приблизился, прицелился глазом

мимо отвеса, сказал: «Ух ты!» — бесцеремонно взял из рук Славика раскрытый журнал и взглянул в него.

— Ну все, — пропел он радостно. — Не отвертитесь. Попал твой Иван Дмитриевич. Подпись-то чья под разбивкой? Его подпись! Напороли, господа инженеры! Ты и тогда на складе мне так намерил.

Славик даже шатнулся от обиды.

— Я вам намерил? Да вы же сами, когда конец рулетки держали, его в кулак комкали. А перед тем тушенкой кормили: «Ешь, сынок, я добрый...»

Вокруг засмеялись.

— Это ты, Василий, добрый? — спросил один из рабочих и свистнул.

— Ой, да покажите мне его в эту минуту! — раздался еще чей-то веселый голос.

Поручев, ругаясь, ушел. Тогда Славик выдернул только что вбитый гвоздь, отмерил 70 сантиметров влево и повесил новый отвес.

Забой он покинул степенно, без спешки, но, едва только скрылся за поворотом, рванулся бежать. Он никогда еще так не мчался по шахте — спотыкался, бился о стойки, дважды чуть не загасил лампочку, а ведь, случись такое, он бы немало намучился в темноте: лампочку нельзя снова зажечь прямо в штреке — может взорваться рудничный газ, поэтому она и запломбирована...

Двинина он нашел в шахтном медпункте. Он лежал на клеенчатом диване. Сестра убирала шприц.

Увидев Славу, Двинин спросил:

— Видишь как? Ничего, полежу немного, скоро пройдет. Направление дал уже?

— Знаете, Иван Дмитриевич, — начал Слава, листая журнал, — такое получается, — и осекся, увидев, что прежде открывал журнал не на той странице: там тоже была разбивка, но только старая, и точки там были другие — не 594 и 595, а 394 и 395.

Слава вернулся в забой.

Он пришел туда с ящиком теодолита и треногой, установил инструмент точно под тем гвоздем, который вбил в свой предыдущий приход, разыскал десятника и обратился к нему неторопливо и негромко, как обычно делал Двинин:

— Тут вот дело какое, — сказал он, — Иван Дмитриевич заболел. Так я один пришел. Инструментом направление дам. Мне только рабочего надо, у отвесов лампочкой посветить.

— Да вот его и возьми, — ответил десятник, указывая на человека, сидевшего неподалеку на перевернутой вагонетке. — Все равно без дела мается.

Славика ободрило то, что десятник не удивился его приходу с инструментом и говорил с ним как с равным. Он пружинным шагом подошел к человеку, сидевшему на вагонетке. Это был Поручев!

— Никанорыч сказал, что вы мне у отвеса должны светить, — он вынул из нагрудного кармана узенькую ленточку полупрозрачной бумаги и протянул Поручеву. — Сперва на задней точке, потом в лоб забоя пройдете. Надо только восковкой стекло лампочки обернуть, чтобы не слепило глаз. Разрешите, я вам оберну.

Поручев вскочил, словно его подбросило, и вырвал полоску бумаги.

— Давай, давай, — зашипел он. — Тоже мне нашелся учить! Я этих отвесов за свою жизнь тысячи перевешал! Много вас таких, на фунт сушеных, найдется!

— Много, — ответил Славик и подумал о Двинине. — Потому и победа скоро придет.

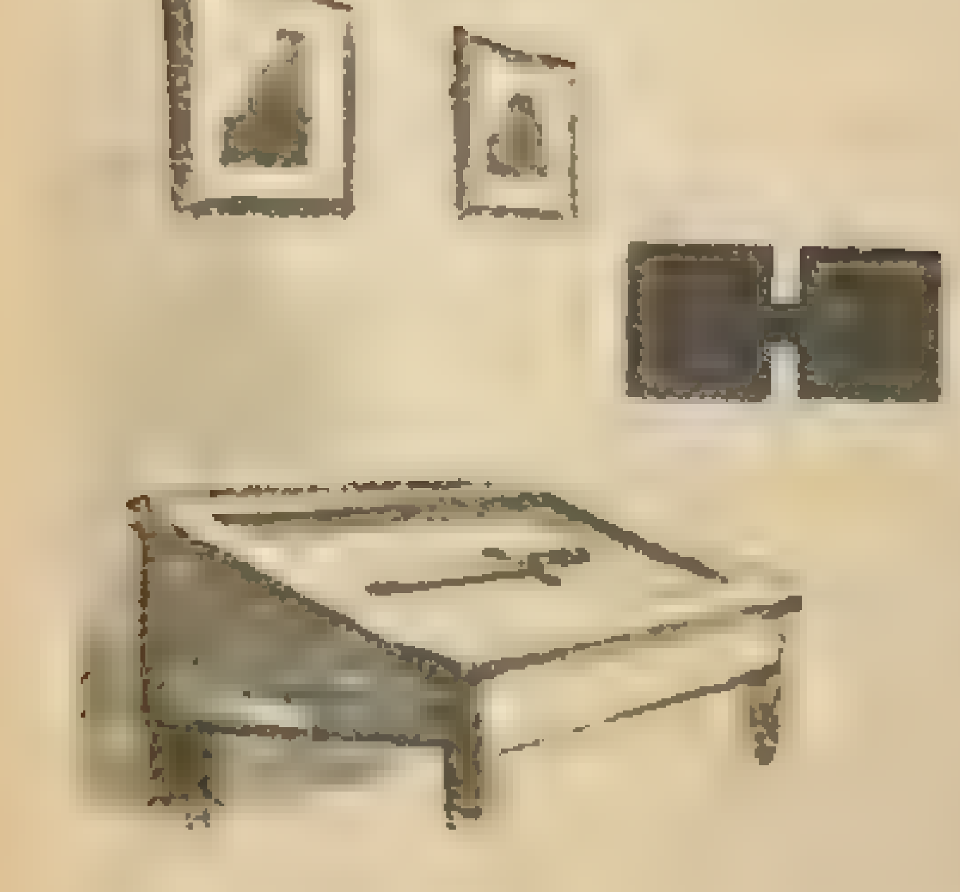
— Чего-чего? — спросил Поручев.

Не отвечая, Слава отошел к инструменту и начал проверять, не сбилась ли его установка. Все было как надо. Пузырек уровня на алидаде стоял точно на середине, острие металлического отвеса, опущенного от гвоздя, вбитого в крепь, указывало на центр инструмента.

Можно было начинать работу.

Илья Туричин

КИНЖАЛ



Никто в школе не предполагал создавать музей славы нашего города. Идея вспыхнула, подобно искре, в седьмом «в», и на большой перемене уже «загорелась» вся школа.

Еще не раздобыли ни одного экспоната, а уже говорили уверенно: «Наш музей», «Одной комнаты для музея мало».

Впрочем, это не совсем верно, что не было ни одного экспоната. Был один.

Впервые появился он на уроке математики.

Виктор Шагалов подтолкнул своего соседа Сеньку Веселова, по прозвищу Плюха, и глазами показал вниз.

Сенька заглянул под парту. У Виктора в руках что-то блестело. Длинное и тонкое, вроде щуренка.

Сонные Сенькины глаза стали круглыми. Виктор пододвинулся, зашептал в самое Сенькино ухо:

— Кинжал, Плюха. Холодное оружие...

Осип Романович сверкнул сердито стеклышками очков:

— Шагалов, если ты рассказываешь Веселову что-нибудь более интересное, чем система уравнений с двумя неизвестными, расскажи об этом громко. Нам всем тоже любопытно послушать.

Виктор поднялся.

— Простите, Осип Романович.

Кинжал выскользнул из его пальцев и тонко пропел, вонзаясь в пол.

— Что это? — спросил, подходя, Осип Романович.

Виктор попробовал было прикрыть торчащий кинжал штаниной, потом наклонился, поднял его. На паркетине остался след от острого кончика.

— Это — реликвия, Осип Романович, — сказал Виктор, глядя прямо в стеклышки учительских очков своими чистыми синими глазами.

Осип Романович хмыкнул. Уж кого-кого, а его не обманешь чистотой и синевой глаз. Виктор Шагалов мог плести небылицы и смотреть на вас вот так же светло, как сейчас. Он непоседа и фантазер. С ним надо держать ухо востро!

— Откуда у тебя оружие? — строго спросил Осип Романович.

— Это не оружие... Хотя, конечно, оружие. Это — кинжал. Бывший кинжал, Осип Романович. А теперь он — реликвия!

— Хорошо. Дай-ка мне эту реликвию.

— Осип Романович, — сказал Виктор жарко и просительно, — не забирайте его. Честное пионерское... Мой папа...

— Дай кинжал, — твердо сказал Осип Романович. — После урока мы послушаем историю твоего папы и этого кинжала.

И он отобрал кинжал.

Садясь, Виктор пнул под партой ни в чем не повинного Плюху.

Плюха не обиделся. Он вообще никогда ни на кого не обижался. Такой уж у него был характер. И Плюхой прозвали его не только за рыхлое, будто слепленное из теста лицо и не только за лениво-медлительные движения.

После звонка Осип Романович, вместо того чтобы уйти, уселся за стол.

— Давай, Шагалов, твою историю. Только без излишеств, — он покрутил пальцами в воздухе.

Ребята обернулись к Виктору.

Он встал.

— В общем, так. Этот кинжал хранится у моего отца. Попал к нему в концентрационном лагере. А раньше кинжал принадлежал Ивану Васильеву.

— Врешь, — сказал кто-то.

— Провалиться!.. Спросите у папы. Да там и буквы на кинжале есть: «И. В.»

Осип Романович неторопливо сунул за пару толстых очков еще пару — зрение у него совсем сдавало — и стал рассматривать лежащий на столе кинжал.

— Верно. Есть буквы «И. В.»

— Вот это да-а-а, — протянул кто-то из ребят.

— Хорошо, — Осип Романович снял вторую пару очков и сунул в потертый кожаный футляр. — Допустим, что этот кинжал действительно принадлежал самому Ивану Васильеву. А к тебе-то он как попал?

— Я его взял из папиного стола.

— Разумеется, без спросу?

Виктор не ответил.

— Возьми. И больше не носи его. Потерять можешь. А если он в самом деле принадлежал Ивану Васильеву, — место его в музее.

Ребята поднялись и чинно стояли, пока Осип Романович не вышел из класса. Потом всех будто ветром сдуло к Виктору.

— Покажи!

— Где буквы?

— Покажи кинжал!

Плюха храбро защищал друга от нападающих. Бесполезно! Впрочем, Виктору приятно было внимание товарищей.

— Хорошо! Только чур в руки не брать. Все-таки реликвия! Становитесь в очередь. Всем покажу!

Ребята, задирая и толкая друг друга, образовали очередь и потянулись, наваливаясь на спины передних, к тонкому узкому лезвию с рукояткой, набранной из колец черного и белого плексигласа. И каждый как завороженный всматривался в насеченные на лезвии возле самой рукоятки буквы: «И. В.»

— Руками не трогать, — крикнул Плюха. — Музейная вещь!

— Придется специально для этого кинжала музей открыть! — насмешливо сказал толстый Володя Коротков. Никто никогда не мог угадать, шутит он или говорит всерьез. Вечно в уголках его тонких губ пряталась усмешка.

— Вообще давно пора открыть в городе Музей Славы! — сказал Виктор.

— Вот я и говорю! — усмехнулся Коротков.

— Чего ты говоришь? — перебил Плюха. — Мало ли чего ты говоришь!

— Между прочим, я читала, что в одной школе ребята сами организовали музей, — сказала Лена, очень худенькая и очень маленькая девочка.

Ребята загалдели.

— Решено, — засмеялся Володя Коротков. — Раз есть исторический кинжал, будет и исторический музей!

Шутка шуткой, а на большой перемене о музее уже говорила вся школа.

Седьмой «в» ходил в именинниках.

Первые дни взрослые относились к ребячьей идее недоверчиво. Какой еще музей? Макулатуру ребятам отдать, или аптекарские пузырьки, или старую железяку — это одно. Но отдать документы военных лет, редкие фотографии, пробитую пулей ушанку с алой лентой?

А если растеряют? Сунут невесть куда?

И все-таки, несмотря на недоверие, в школу стали поступать экспонаты для будущего музея.

Был создан штаб музея. В него вошел, кроме ребят, математик Осип Романович, который во время войны партизанил. Начальником штаба избрали Виктора Шагалова, так как именно у него в доме хранился знаменитый кинжал самого Ивана Васильева.

В школьной столярной мастерской посвистывала стружка, пахло сосновой смолой. Ребята сооружали застекленные стенды и специальные столы.

Уже не школа — город заговорил о музее.

— Папа, ты должен отдать нам кинжал Ивана Васильева!

Виктор стоял возле письменного стола отца, широко расставив ноги и упрямо наклонив голову, будто собрался не поговорить, а подраться с отцом.

Шагалов-старший, сменный инженер комбината, корпел над чертежами. Сын мешал ему. Не отрываясь от разложенных на столе бумаг, он сказал:

— Не блажи... И не мешай... Вот напутаю с расчетами...

— У нас музей самый настоящий... — начал Виктор.

— Отстань... И без твоего музея кинжал не заржавеет.

— Как ты можешь!

— У меня расчеты, Виктор.

— Хорошо. Я подожду.

— Подожди, подожди...

Виктор уселся на стул у стены, сложил руки на коленях и решил ждать. Хоть сутки.

Когда часа через два Шагалов-старший откинулся на спинку кресла, он очень удивился, увидев сына, прямо и строго сидевшего на стуле у стены.

— Ты не заболел ли, Виктор?

— Я жду.

— Ждешь? Чего?

— Я же тебе говорил...

— А-а, насчет кинжала, — разочарованно сказал Шагалов-старший и потянулся. — Не выйдет. Не имею никакого права. Кинжал — холодное оружие. На его ношение треба разрешение. Видишь, даже стихи получились.

— Пап, я ж не собираюсь его носить! Он для музея нужен! Понимаешь? Музей Славы! Ведь все началось с кинжала.

— Это как же так?

— Ну, я... мы... — Виктор понял, что проговорился, и решил не вилять, а сказать всю правду. — Я принес кинжал в класс.

— То есть как это в класс?.. — нахмурился отец. — Да знаешь ли ты, щенок, что за человек был Иван Васильев?!

— Папа...

— Молчи! Без спросу лазал в мой стол!

— Папа, честное пионерское...

— Молчи!

Виктор закусил губу. В носу у него защекотало, он почувствовал, что вот-вот расплачется, круто повернулся и выбежал из комнаты.

Плюха помрачнел. Все, все приносили в штаб фотографии, документы, предметы, принадлежавшие защитникам города—солдатам, подпольщикам-партизанам. И только он, Сенька Веселов, ничего не смог раздобыть. Когда кончилась война, отцу его было всего-навсего шестнадцать лет. А матери и того меньше. И отец не был ни партизаном, ни подпольщиком, ни солдатом. И даже в родном городе его не было во время борьбы с оккупантами. Покойная бабушка увезла его в эвакуацию на Урал.

У такого отца нет реликвий, и нечем Сеньке гордиться. Конечно, никто не требует от Сеньки ни документов, ни фотографий, никто ничего не требует. Но от этого обида не меньше.

Как-то вечером Сенькин отец Илья Абрамович спросил:

— Ты что такой мрачный, Сеня?

— Так.

— Нашкодил?

— И не думал, — Сенька вздохнул. — И почему ты раньше не родился?

У отца брови вверх полезли.

— Чего это ты вдруг?

— Да так... Музей у нас в школе создают. Музей Славы. Все ребята всякие экспонаты несут. Только я не несу.

— Почему?

— А где я возьму? Ты подпольщиком был? Солдатом был?

— М-мда-а... — Илья Абрамович почесал затылок. — Действительно, не был.

— У меня, кажется, где-то сохранились продовольственные карточки, — сказала Сенькина мама.

— Карточки? Фотографические? — не понял Сенька.

Мама засмеялась.

— Да нет, Сеня, такие розовенькие и голубенькие листки с талонами. А на талонах написано: крупа, жиры, мясо, сахар. По этим талонам выдавали в магазинах продукты. Сейчас я поищу.

Мама долго рылась в каких-то коробочках с бумагами, в старых сумках... Безрезультатно.

– Верно, потеряла. Или запропастились куда... — сказала она огорченно.

Сенька нахмурился и снова вздохнул. Вот уж не везет!

Открытие музея назначили на 9 мая — День Победы.

Освободили две просторных комнаты. Перенесли туда из мастерской ядовито пахнущие масляной краской стенды и столы. Два дня лучшие художники школы размещали экспонаты, чтобы было понятно, что к чему.

Кинжала Ивана Васильева среди экспонатов не было. Но место для него оставили. И даже подкололи объяснительную карточку: «Кинжал, принадлежавший партизанскому командиру Ивану Васильеву, погибшему при освобождении узников фашистского концентрационного лагеря. После гибели имя Ивана Васильева было присвоено партизанскому отряду».

Виктор Шагалов больше разговора с отцом не заводил, а решил во что бы то ни стало привести его на открытие музея. Отец увидит место для кинжала, объяснительную карточку и сдастся. Да еще прошел слух, что секретарь горкома намеревается передать на хранение музею партизанское знамя. У кого при этом не дрогнет сердце?

Наконец наступило 9 мая. С утра настроение у всех было приподнятое. Возле закрытых еще дверей музея, перед которыми алела лента, стоял почетный караул: пионеры в парадной форме, комсомольцы с красными повязками на рукавах. Они стояли неподвижно, со строгими лицами, сменяясь через каждые двадцать минут.

Мимо дверей музея в актовый зал проходили гости — рабочие с комбината и швейной фабрики, бывшие партизаны и подпольщики, солдаты и офицеры.

Пришли и Плюхины, папа и мама. Они почтительно косились на почетный караул и переговаривались шепотом.

Пришел и Шагалов-старший.

Ровно в двенадцать на сцену актового зала, украшенную еловыми ветками, перевитыми красными лентами, поднялись члены штаба музея и секретарь горкома.

Все встали. Двое бородатых стариков вынесли на сцену обожженное пулями знамя партизанского отряда. На алом выцветшем полотнище вышитая надпись: «Смерть фашистским захватчикам!»

И в зал будто пахнуло горечью лесных костров и пороховым дымом. Тихо стало в зале. Так тихо, что все услышали, как поскрипывает половица на сцене, будто сосна в лесу.

— По решению городской партийной организации, — сказал секретарь горкома, — мы передаем это боевое знамя народных мстителей на вечное хранение вашему музею. Помните: под этим знаменем сража-

лись отважные сыны и дочери народа. Многих из них нет сейчас среди нас. Но память о них жива. Будьте же достойны этой памяти. Вечная слава героям!

Секретарь горкома преклонил колено, бережно взял в ладони край знамени и поцеловал его. Вслед за ним поцеловали полотнище и старики — бывшие партизаны. Потом к знамени шагнул Виктор. Он побледнел от волнения и забыл, что должен сказать в ответ. Встав на одно колено, он поднес край знамени к губам. Потом выпрямился и сказал звонко, срывающимся голосом:

— Мы клянемся... клянемся... — проглотил застрявший в горле плотный комок и повторил тихо: — Клянемся!..

Все поняли, что хотел сказать Виктор, и неистово захлопали.

Виктор крепко сжал простое некрашеное древко и поднес знамя к членам штаба. Осип Романович торопливо протирал толстые стекла очков.

Когда аплодисменты и шум утихли, в зале поднялся Шагалов-старший.

— Разрешите сказать несколько слов. — Он вышел на сцену, щурясь от яркого света, и встал неподалеку от Виктора. — Раз такое дело, хочу и я сделать подарок музею. Передать кинжал легендарного командира партизан Ивана Васильева.

Зал снова разразился бурей аплодисментов. Шагалов-старший поднял руку.

— Думаю, вам небезынтересно узнать, как кинжал Ивана Васильева попал ко мне. Расскажу коротко. Во время оккупации на том берегу реки, где был деревообделочный завод, фашисты устроили концентрационный лагерь. Жуткое это было место...

Шагалов-старший говорил медленно, тихо, будто заново переживал события тех дней. И слушателям передалось его волнение. Стены зала растаяли, и все увидели густые сети колючей проволоки, деревянные вышки с пулеметами. Услышали хриплый лай собак, глухую дробь автоматной очереди. Короткий всплеск. Фашисты сбросили в реку труп замученного. Сколько их было, этих всплесков? Сотни? Тысячи? В холодных дощатых бараках — раненые солдаты, старики, женщины, дети...

Помутилась река от горя.

В апреле сорок третьего года партизанское командование решило разгромить лагерь. Нелегкое это дело поручили Ивану Васильеву. Надо было спешить: фашисты согнали в лагерь молодежь, чтобы отправить в Германию.

И вот — ночь. Моросит мелкий нудный дождь. Слабо пахнет прошлогодней листвой.

Бесшумной цепочкой идут партизаны. Нельзя ни закурить, ни кашлянуть, ни оступиться.

Впереди — Иван Васильев. Вот он поднял руку.

Цепочка остановилась. От нее отделились двое, двинулись вслед за командиром. Легли на мокрую землю. Поползли...

У глухих ворот — часовой.

Метнулась тень. Короткий удар. Часовой падает, как мешок с песком.

Иван Васильев нажимает кнопку сигнального звонка. Щелкает замок в двери проходной будки. Выходит дежурный офицер. Удар кинжалом. Офицер падает. Путь свободен.

Короткий свист. Цепочка партизан устремляется в открытую дверь.

...Шагалов-старший утер со лба пот носовым платком.

— Да... Вот так это было... А мы ждали... Мы знали... Мы бросились на надзирателей. На охрану. Били чем попало свирепых собак.

Партизаны сбивали замки с бараков. Заключенных уводили в лес. Кто не мог идти, тех несли на руках.

А Иван Васильев бросился к комендатуре. Мы — с ним, несколько парней из заключенных. Надо было рассчитаться с комендантом, который мучил наших, а трупы сбрасывал в реку. Надо было рассчитаться. Мы сломали высокий забор. Смяли колючую проволоку... Впереди — Васильев.

Дверь в комнату коменданта была заперта. Васильев навалился на нее. Дверь хрустнула, подалась. Вспыхнул луч фонарика. Комендант стоял у стены, как привидение, в одном нижнем белье, с пистолетом в руках.

У Ивана Васильева — кинжал. Наверное, от ненависти он забыл, что у него тоже есть пистолет.

Комендант выстрелил в Ивана Васильева. Васильев рванулся к нему, ударил кинжалом:

— Вот тебе, гад... За людей наших... За все...

Потом пошатнулся...

Шагалов-старший вдруг прервал рассказ, умолк, опустил голову.

Молчал притихший зал. Только какая-то девочка тихонько всхлипнула.

Шагалов вздохнул.

— Когда мы несли командира, в сенях что-то звякнуло. Я наклонился и поднял кинжал. Его обронил Иван Васильев. Так и остался у меня кинжал. Вот он, — Шагалов сунул руку за борт пиджака и достал кинжал с тонким лезвием и наборной ручкой из черных и белых колец плексигласа. Он поднял кинжал над головой. — На клинке выбиты две буквы: «И. В.» — «Иван Васильев».

— Позвольте, — сказал кто-то в зале. — Позвольте мне...

Сенька Плюха вдруг увидел своего отца, идущего по проходу к сцене. Лицо отца покрыто красными пятнами.

«Чего это он?» — подумал Плюха и заморгал часто-часто.



Илья Абрамович поднялся на сцену, сопровождаемый двумя сотнями любопытных глаз.

— Позвольте, товарищ Шагалов, взглянуть.

Он осторожно взял из рук Шагалова кинжал и склонился над ним, медленно поворачивая сверкающий клинок. А когда распрямился, пятна на его лице стали еще ярче.

— Поразительно, товарищи! Поразительно! Эти буквы выбивал я.

Зал ахнул и замер.

— Интересно, — сказал секретарь горкома.

— Поразительно интересно, — откликнулся Илья Абрамович. — Я тогда был учеником слесаря... На Урале... Мне было всего тринадцать... Да... Пришлось, знаете, обмануть администрацию завода, чтобы взяли... Мы, ученики, делали кинжалы для разведчиков... Вот этот сделал я... Кажется, зимой сорок второго... Мне очень хотелось, чтобы разведчик, которому этот кинжал... Ну, в общем, знал бы, кто его сделал. То есть про меня. Я и насек на лезвии две буквы: «И. В.» — Илья Веселов.

— Точно, — сказал один из партизан. — Помню, как нам оружие на самолете привезли, стали распределять. А на кинжале буквы — «И. В.». Ну, тот кинжал и отдали Ивану Васильеву, потому что буквы подошли.

Что тут поднялось в зале! Ребята повскакали с мест. Бросились к сцене. Закричали «ура».

Шагалов-старший стал жать руку Илье Абрамовичу. Секретарь горкома обнял их обоих. И вдруг Виктор Шагалов передал знамя Осипу Романовичу, соскочил со сцены, протолкался к Плюхе, притащил его, оглушенного, на сцену, крикнул громко:

— Илья Абрамович — папа нашего Сеньки!

И ребята снова закричали «ура».

Потом торжественно перерезали ленточку на дверях музея.

Знамя партизанского отряда положили под стекло.

Кинжал, с которого все началось, тоже лег на приготовленное ему место. А в объяснительной карточке появилась еще одна фраза: «Сделан зимой 1942 года учеником токаря И. А. Веселовым».

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте нам ваши отзывы о прочитанных книгах, об их содержании и оформлении.

Укажите свой точный адрес и возраст.

Пишите по адресу: Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги издательства «Детская литература».


ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

ПОБЕДА

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Ответственный редактор
А. А. Агапов
Художественный редактор
В. В. Куприянов
Технический редактор
И. К. Грейвер
Корректоры
К. Д. Немковская и
Ю. А. Бережнова

Подписано к набору 15/XII 1964 г. Подписано к печати 2/III 1965 г. М-12605. Формат $70\times90^1/_{16}$. Печ. л. 14. Усл. п. л. 16,38. Уч.-изд. л. 14,294. Тираж 100 000 экз. ТП 1965 № 332. Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 514.
Цена 53 коп.
Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати. Ленинград, 2-я Советская, 7.


53 коп.


П О Б Е Д А